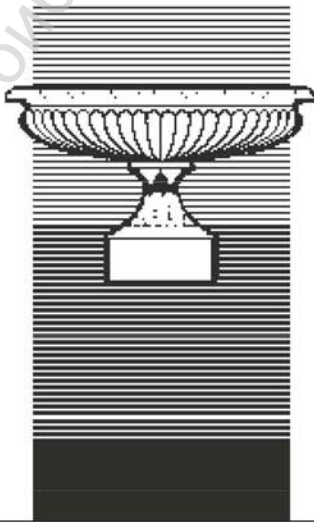


АЛТАЙ

4/2017



Электронная библиотека АГУНБ, elib.altlib.ru

Денис Октябрь (р. 1977)



О рыбаке и рыбках. 2007.

Холст, масло. 90x105. Собственность ГХМАК

Издается с 1947 г.

А Л Т А И



ДЕКАБРЬ

4/2017

*литературно-художественный
публицистический
культурно-просветительский
журнал*

16+

ЖУРНАЛ «АЛТАЙ»
№ 4, 2017

Редакционный совет:

Безрукова Е. Е. (председатель совета)
Вигандт Л. А. (главный редактор)
Гришин К. В. (Барнаул)
Есаулов И. А. (Москва)
Жданов И. Ф. (Барнаул; п. Симеиз, Крым)
Кирилин А. В. (Барнаул)
Коржов В. М. (Барнаул)
Костин В. М. (Томск)
Кудимова М. В. (Москва)
Куницын В. Г. (Москва)
Курбатов В. Я. (Псков)
Нифонтова Ю. А. (Барнаул)
Клишина Е. М. (Барнаул)
Пешков А. В. (редактор отдела прозы)
Пономарёв П. В. (выпускающий редактор)
Чернышков Д. В. (Бийск)

Учредитель журнала:

Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека
имени В. Я. Шишкова»

Адрес редакции и издателя:

656038, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Молодежная, д. 5,
тел.: (3852) 36-39-37
E-mail: altai-journal@mail.ru

Верстка:

Майер О. В.

Корректор:

Сигарева М. В.

Оформление обложки:

Александр Кальмуцкий

Издание зарегистрировано в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ22–00569 от 22 сентября 2015 года.

Тираж 1600 экземпляров. Дата выхода в свет: 05.12.2017. Распространяется бесплатно.

Адрес типографии: ООО «Технопринт». 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 31г, офис 6, тел.: (3842) 35-21-35, e-mail: fsp-antom@yandex.ru.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций.

Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

При цитировании материалов без согласования с редакцией ссылка на журнал обязательна.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Максим Калинин. Облако-душа. «Полночь не всевластна...».	
«Небо, как плащ на худом старике...». «Лезет к нам в окно луна...».	
«Уборов тебе разноцветных...». «Куплено горе...».	
«В час, когда люди молчат...». «Пока он всходил на клирос...».	
«Ветер в копне одинокой истлел»	5
Игорь Шкляревский. Утешения. Ориентация на местности.	
Воспоминание о славгородской пыли	27
Станислав Минаков. «Мама стала махонькая, как котик...».	
«Дышит ветер неспешный заветный...». «Ты стареешь.	
Но всё ж не очень...»	30
Фарида Габдраупова. Свет. Картаней (Бабушка). «Я люблю этот шум	
последнего зимнего ветра...». «Птицу в руках держала...».	
Ночной ветер. «Пенициллином и манной кашкой...». Весна. «Ты спишь,	
моя радость...». «Если б знать, где ты ходишь большими ногами...»	62
Юрий Татаренко. 44+. 21 марта. Юрга — Тайга. На веранде. Июнь.	
Месяц в деревьях. Прогулка по Морскому проспекту. Белая сирень	67
Анжелина Полонская. Домой. К пеплу. Если бы мы были цыгане.	
Элегия цветущих слив. Будто ты повела меня в храм. Цветок отчаяния.	
Зеркало	120
Эд Побужанский. Друг. Вера. Воскресенье. Московский роман. Пробел.	
Новый бог. Подполтинники. «Во мне не осталось ни веры, ни дара...».	
Цитаты	126

Проза

Станислав Колокольников. Ходят кони. <i>Рассказ</i>	12
Николай Гайдук. Свидетельство о жизни. Помнить о вечном.	
Янтарный стих. <i>Рассказы</i>	32
Владимир Коржов. Дебаркадер «Татарчонок». <i>Главы из повести</i>	41
Владимир Куницын. Любоффф... Рука Карла Маркса. Звонки	
из Лувра. Бальзак отдыхает. Мишка, Мишка, где твоя улыбка.	
Чужой сон. Кустурица. Не единственный. <i>Рассказы</i>	73

Любовь Новгородцева. Своя колея. <i>Рассказ</i>	95
Александр Пешков. Виноградная пропись. <i>Рассказ</i>	101
Лариса Вигандт. Родионов: Дневники. Правило белого камешка. <i>Глава из книги-биографии</i>	130

Иностранная новелла

Шарль Левински. Воля народа. Отрывок из романа. <i>Перевод</i> <i>с немецкого Татьяны Набатниковой</i>	53
--	----

Революция 1917 года и русское зарубежье

Ольга Кудзоева. «Послужим грядущей Сибири!» Письма Л. В. Тульпы и Г. Д. Гребенщикова (1926–1930)	142
--	-----

Литературное наследие

К 100-летию писателя Николая Дворцова

Иван Кудинов. Мы живем на Алтае.....	169
---	-----

К 80-летию поэта Игоря Пантюхова

Владимир Коржов. Вступительное слово	202
Игорь Пантюхов. Стихи.....	203

Максим Калинин

Родился в 1972 году в Рыбинске. Автор книг стихов «Темный воздух», «Часовые над Шексной», «Медленная луна» и «Сонеты о русских святых», а также книги переводов из Томаса Прингла. Стихи и переводы публиковались в антологиях «Семь веков английской поэзии», «Лучшие стихи 2010 года», «Лучшие стихи 2011 года», «Поэтический атлас России» и в периодике: «Иностранная литература», «Новый мир», «Урал» и др.

Лауреат поэтических премий журналов «Москва» (2002) и «Урал» (2009), а также премии Anthologia журнала «Новый мир» (2016).



ОБЛАКО-ДУША

Просится на небо
Облако-душа.
Утренняя треба
Тем и хороша.

Заострились сосны
Тонкой головой.
По дороге росной
Мчится вестовой.

«Что там?» — «Солнце встало.
Смерти больше нет.
Сбросил одеяло
Боготворный свет».

Вымолвил — растаял,
Только свет столбом.
Невечерний дьявол
С покрещённым лбом.

А на небосводе,
Как ни посмотри,
Что-то жизни вроде,
Только изнутри.

А закроешь вежды,
Сам ты — был таков,
Затесавшись между
Прочих облаков.

Полночь не всевластна,
Нет во тьме беды.
День придёт согласно
Шёпоту воды.

Песни колыбельной
Плети и витки
Лягут параллельно
Поступи реки.

Затхлые запруды,
Кости камыша.
Зябка и безгруда
В эту ночь душа.

Слёзы новолунья,
Чёрно-белый свет.
Вырежет колдунья
Из земли твой след.

Небо, как плащ на худом старике.
Звёзды, как мыши во ржи.
Воспоминанье о белой реке
К потному лбу приложи.

Белые птицы летят и летят.
Реки текут и текут.
Юность твоя с волосами до пят
Прячется в затхлый закут.

Что впереди? Только холод стихов —
Сердца остывшего блажь.
Список своих негасимых грехов
Вытвердишь, как «Отче наш».

Лунные тени на фоне окна
Прячут за пазуху свет.
Сколько могил не разграбит луна,
Им пресечения нет.

Пишет и пишет волна на песке.
Сердце устало от лжи.
Воспоминанье о белой реке
Сердцу в карман положи.

Лезет к нам в окно луна,
Как животное из басни.
А в округе тишина,
Чем бескрылей, тем прекрасней.

Ветер, словно блудный сын,
Мне колени обнимает,
На язык родных осин
Божий глас перевирает.

Засыпаем на столе,
Положив на локоть ухо.
Жил старик в одном селе,
А в другом — жила старуха.

Не наделали детей,
Так как вовсе не встречались.
Только трое тополей
Между сёлами мотались.

Уборов тебе разноцветных
И солнца в проточной воде.
В сиянье миров беспредметных
Ты бродишь неведомо где.

Октябрь поизгваздал ботинки
И в рощу вломился спроста:
Считает тугие росинки
На тёплой ладони листа.

Из чащи ему прокричали,
Что ты уже здесь и сейчас.
И то, что он видел в начале,
Уже незнакомо для глаз.

С тобою беседовал странно
По грязи пришлёпавший гость.
А с неба просыпалась манна
И манки глубокая горсть.

Павлу Крючкову

Куплено горе
Доброй ценой —
Ветер с предгорий,
День вороной.

Путь без оглядки,
Шелест стропил.
Бьются лопатки
Парою крыл.

Через прорехи
Глянь за плечо —
Ринулись вехи
Ввысь каланчой.

Вспомнит ли кто-то
В прошлом про нас?
Сладость полёта
В краешках глаз.

Мёртвые в яме
Падки на шум.
Таем камнями
В омуте дум.

В час, когда люди молчат, —
Бог говорит.
Тысячи солнечных чад
Плачут навзрыд.

Тают небесные льды,
Капли — с яйцо.
Пригоршней талой воды
Смоешь лицо.

Будешь безлик и безглаз.
И в тишине
Только божественный глас
Внидет извне.

Только по слову его
Сможешь прозреть,
В духе узреть существо
И — умереть.

Пока он всходил на клирос,
Играя с огнём и льдом,
Сугроб за окошком вырос
И стал вышиною с дом.

Бессмертной душе не жалко
Оставить желанный брег,
Но крякнула в небе балка
И гуще посыпал снег.

И слушал он в уха оба,
Как плакали сквозь пургу.
Быть может — на дне сугроба,
Быть может — в больном мозгу.

С огарков вспорхнула стая
Огней. Ночь, как день, долга.
И кто-то стоял, не тая,
Весь белый у очага.

Ветер в копне одинокой истлел
В убранном наглухо поле.
Всякий твой стих — это суть новодел,
Спетый по блоковской воле.

Что наплетёт дьяволица заря,
Слушать не нужно вовеки,
Чтоб не снимали тебя с фонаря
В рыбьем призоре аптеки.

Облаком выбелен солнечный свет,
Ждать не приходится оды:
Русская жизнь — итальянский сонет,
Где не заложено коды.

Стрелки минуты стригут на часах.
Только — большое ли дело,
Если звезда в золотых небесах
Ночь напролёт тебе пела.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Станислав Колокольников

Родился в 1974 году в городе Новоалтайске Алтайского края. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал курьером, строителем, арт-директором клуба, журналистом. Член Союза писателей России. Любит бывать в Индии. Живет на Алтае.



ХОДЯТ КОНИ

В Белостоке моим первым новым знакомым стал сосед Бази-на по съемной квартире и торговому ряду. Невысокий худощавый парень с печальным лицом, он немного сутулился сидя за прилавком, а когда вставал, непременно закинул руки в карманы брюк. Рома продавал антиквариат и всякую армейскую атрибутику времен Советского Союза: значки, погоны, пилотки, бинокли, плащ-палатки и много еще чего. Иногда приходили пузатые поляки, шептались с Ромой, и он им выдавал что-то обернутое в чистую тряпицу.

— Чего там? — спрашивал я у Базина.

— Так, — покачивал головой тот.

— Секрет?

— Ага.

После работы мы относили домой самое ценное, остальное забирали под замок на рынке. Жили мы все вместе у чрезвычайно подвижной старушки, звали ее пани Хелена. Самое яркое ее воспоминание было из детства — как в конце войны она несколько месяцев провела в сибирских лагерях. Чуть ли не каждый день пани Хелена с жалостью спрашивала:

— Вы, ребята, из Сибири?

— Да, — кивали я и Базин.

— Брр, холодно там, — вспоминала пани Хелена, — бардзо зимно в Сибири.

Отдав все имеющиеся спальные места, сама пани Хелена устраивалась по-походному на полу на старом одеяле, укрывшись теплой заплатаной курткой. Она была доброй, лишь качала головой и готовила завтрак на всех, когда мы уставшие приходили под утро. В дни пенсии и по выходным пани кормила нас обедом и ужином. Особенно строго старушка следила только за расходом воды и электричества.

Перекусив постной похлебкой от пани Хелены, мы спешили на улицу. Лето было душным. Базин разведал местечко, где телефон-автомат позволял минут пять бесплатно говорить с родиной. Первым делом вечером мы направлялись туда, звонили родственникам и друзьям, а потом шли в ночную лавку.

Мы уже были у дверей магазинчика, как я услышал вдалеке начало знакомой песни:

— Хо-одют ко-они!

— Это чего? — я толкнул Базина.

— А так, — отмахнулся он.

— Наши ведь, наверняка, — радовался я. — А? Слышишь?

— Ромка это в вишневом саду грустит.

— О как, — удивился я.

Песня прервалась на самом начале. И через некоторое время началась по новой:

— Ходют кони!

Опять прервалась. И так несколько раз.

— Он что слов не знает?

— Не может запомнить.

— Может, тоже заглянем в вишневый сад? Напомним.

— А что, идея. Там спокойно, все бурьяном заросло. Поляки туда не ходят.

Найти молчавшего Рому было не так-то просто. Но способ был.

— Ходят кони над рекою! — пропел я. — Ищут кони водополя!

И тут же рядом за лопухами отозвался печальный голос:

— Ходют кони...

Несколько шагов, и мы нашли нашего соседа.

Это был странный вечер. Перед нами в высокой траве стояла бутылка с вишневым вином «Алабама», мы дымили вишневыми сигаретами «Капитан Блэк» и закусывали спелой вишней в заброшенном саду на окраине Белостока.

Певец уныния и обреченности Рома лежал, откинувшись на спину, и стеклянными глазами смотрел в небо. Глянув на нас, он грустно произнес:

— Вам хорошо, вы алтайские. Вот Шукшин с Алтая, а он-то знал, эх...

— Чего знал? — спросил я.

— Хо-дют ко-они, — напел в ответ Рома, — такую песню... пел...

— Золотухин пел, да и песня не народная. Кима вроде...

А у Шукшина другая любимая была. Миленький ты мой, возьми меня с собой...

— Неважно, — вздохнул Рома, — там и там тоска.

— Тоскуешь, что ли, Ромка?

— Тоскую, ох и тоскую... Не отпускает ни днем, ни ночью, зараза.

— Пройдет, — успокоил я.

— Здесь среди поляков не пройдет.

— Но ты же здесь не навсегда.

— Нельзя мне обратно, никак нельзя... Я и жену с сыном сюда выписал. Послезавтра приедут.

— А жить где будут? — забеспокоился Базин.

— Со мной.

— А пани Хелена знает?

— Нет.

— Так, может, с семьей повеселее станет, и пройдет тоска, да, — обнадежил я.

— Нет, — вздохнул Рома, полежал молча и запел: — Хо-дют ко-они...

Рома пил до крайности, до потери сознания и зачастую отключался прямо в вишневом саду. Однако на работу приходил чистенький с неизменной печалью в глазах.

Ближе к полуночи мы отправлялись через пару кварталов в местечко «Хата Пухатого», я не сразу понял, что название означало «Дом Винни Пуха». Местечко было — не заскучаешь. Там в полу-

мраке за кружкой пива сидели местные музыканты, художники и просто интересные личности. Деревянные лавки и столы, тканевые абажуры и занавески на окнах. На полках стояли книги и редкие вещи, а в стеклянном ящике томился огромный, грустнее Ромы раз в сто, удав. Видимо, из-за него в баре царила атмосфера вымышленного писателем-анималистом пространства.

— Чего же Ромка так тоскует? — спрашивал я у Базина, глядя на неподвижную рептилию.

— Есть причина.

— Секрет?

— Ага, — Базин глядел по сторонам. — Смотри. Видишь чужака в ковбойской шляпе?

— Ну.

— Говорят, блюзмен из Чикаго.

— А что он здесь делает?

— Не знаю. Может, шпионит.

— А вот тот странный типок в рваной майке с «Green Day», кто?

— Басист какой-то местной группы.

— Сюда нормальные люди заходят?

— Редко. Здесь же дом Винни Пуха. Здесь тусят только его друзья.

— А Ромка чего сюда не ходит?

— Он слишком грустный для друга Винни Пуха, — сказал Базин и постучал указательным пальцем по аквариуму. — Таким грустным можно быть, если только ты удав в стеклянной коробке.

Через пару дней, когда мы с Ромой вдвоем оказались в вишневом саду, он сам рассказал историю о том, как прихватил чужие иконы и пришлось ему из родной Вязьмы уехать в Белосток.

— Как же ты на это решился? — спросил я.

— Да это черти. Их рук дело, как с обрыва подтолкнули, — сказал Рома и, наклонившись ко мне, добавил чуть тише: — А меня еще заставили думать, что это я сам сделал.

— Заставили? Какие черти? Бандиты? Твои знакомые?

— Обычные с рожками, всем знакомые.

— Ага, в этом смысле, — закивал я. — Ты верующий, что ли?

— А как же. Я и в иконах поэтому так хорошо разбираюсь. Хоть образования у меня нет, я ведь... эх, — Рома не стал договаривать, что он еще натворил без образования, и ушел в себя.

— Из-за этого, значит, тоскуешь, — подытожил я.

— Ходют кони, — безнадежно проныл Рома.

— А, вот вы где, — услышали мы голос Базина.

После нашего разговора я решил, что моя печаль несоизмеримо меньше Роминой. Томление начиналось, как только я переставал жить сегодняшним днем и думал о завтра и о послезавтра.

Мы сидели на ящиках за прилавком. Базин раскладывал свой товар: банданы, очки, фляжки, металлические кружки и губные гармошки. Из центрального парка рядом доносились звуки живого концерта. Там по аллеям неторопливо ходили люди, выгуливая детей и собак.

— Ну давай, расскажи еще раз, — похихикивая, просил Базин, — расскажи, как же это получилось.

— Изначально мой путь лежал в Болгарию, — веселясь через силу, на десятый раз пересказывал я, — там по вполне точным сведениям жила и, дай бог, живет моя двоюродная бабушка. Отец в конце восьмидесятых гостил у нее в Софии. Прошло, считай, лет пятнадцать. За это время несколько писем и открыток из Болгарии дошли. А два месяца назад отец решил отправить меня туда. Купил мне купейный билет до Москвы. Перед посадкой вручил сто долларов, пожелав успешно перейти границу между Польшей и Болгарией и не возвращаться, пока не стану виноделом. По не вполне точным сведениям бабушкин муж имеет свой виноградник на Дунае. Уверенный, как и отец, что до Софии рукой подать, истратив больше половины суммы, я добрался до Белостока. Разыскал тебя, изучил карту Европы и теперь вместе с вами торчу на рынке, ломая голову, как ехать дальше.

— Только автостопом, через Краков, — советовал Базин, — возьми у Ромки плащ-палатку и сам черт тебе не брат, езжай куда хочешь.

— С чертями поосторожней. Вон Ромка хоть и верующий, а как его закрутило, — шепотом говорил я, напоминая Ромкину историю.

— Да какой он верующий. Картежник он, продулся в пух. И еще он в своей Вязме иконами приторговывал, ездил по деревням, скупал их у старушек. Однажды так получилось, что и в карты проигрался, и по чьей-то просьбе икон прикупил больше обыч-

ного. Сбежал наш Рома от долгов с целым эрмитажем чужих икон. Теперь на них и живет здесь.

— Вот тебе и ходят кони. А я думал из-за веры тоскует.

— Боится он, что найдут его. Ну и тоскует, конечно. Как начнет про свою Вязьму рассказывать, не остановишь.

Ромка повернул голову и посмотрел на нас. В глазах его была абсолютная покорность перед жизнью. В мутном потоке она несла его от родных берегов в тревожную даль несбывшегося.

— Базин, а ты не скучаешь по дому? — перевел я разговор. — Сколько ты уже здесь?

— Почти полгода. Была бы возможность, дальше поехал. А то поляки, курвы, дюже нервные на русских, недолюбливают. Да ведь, Ромка?

Тот кивнул в ответ.

Пани Хелена приезду Ромкиных жены и сына даже обрадовалась. Она была уверена, что пить похититель икон станет меньше, переключит свое внимание с бутылки на семью. Жалости и доверию ее не было предела.

— А что ты хочешь, — говорил я Базину, удивленному, как безропотно наша пани согласилась на уплотнение жилплощади, — тому, чье детство прошло в сибирских лагерях, жалости потом на несколько жизней хватает.

Жить вшестером на сорока квадратах двухкомнатной квартиры стало тесновато. Тем более Рома стал пить еще больше, теперь из вишневого сада его приносили жена и восьмилетний сын. Они выглядели потерянными в непривычной обстановке, наверное, совсем не похожей на далекую Вязьму. Чтоб их подбодрить, я подарил пацану удочку, которую таскал с собой второй месяц, но так ни разу не расчехлил. Глядя на обрадованного мальчика, побежавшего искать водоем, я почувствовал, что и мне пора на поиски семейных виноградников.

— Завтра поеду. Через Варшаву и Краков до Закопане, — уверенно заявил я Базину. — Там на границе решу, что делать.

— Смотри, мы через пять дней с Ромкой собираемся на антикварную ярмарку в Гданьск.

— Ну, если что не получится, буду знать где вас искать.

— Надо взять у Ромки плащ-палатку тебе в дорогу.

Вечером мы шли с рынка, я, завернутый в офицерскую плащ-палатку, а Базин надел летний шлем танкиста. По другой стороне дороги навстречу мотылялись двое пьяных молодых поляков. Увидев нас, они что-то прокричали. В ответ Базин помахал им шлемофоном и крикнул:

— Вперед! На Берлин! Победа будет за нами!

Поляки сходу кинулись драться. Мы нелепо помутузились посреди дороги, на клочки разодрав друг на друге рубахи. Через пять минут выдохлись и, ругаясь, разошлись.

Утром с исцарапанными рожами мы провожались.

— Быстро и легко тебе добраться до Болгарии, — желал Базин. — Как только тебя пристроят управляющим на дунайский виноградник, сразу отпишись, я приеду.

— Ага, договорились. Ну а я вам желаю не загнуться от белой горячки в Гданьске.

— Сколько у тебя осталось долларов?

— Десять.

— На тебе еще десять, а то все равно пропьем.

— Спасибо. Поехал я.

— Давай. Передавай привет брату в Варшаве, адрес у тебя есть.

— Да, как договаривались. К вечеру должен добраться! — уже кричал я, быстро шагая к трассе.

Интернет и мобильная связь еще не были так общедоступны, и потому пространство вокруг оставалось более загадочным. Сведения о том, что Польша не граничит с Болгарией и на пути еще Словакия, Венгрия, Сербия или Румыния — на выбор, обескуражили меня. Но не настолько, чтобы я отказался от возможности добраться до границы и пересечь ее. Удобнее всего это было сделать в курортном местечке Закопане в Татрах.

В Варшаве у Базина жил брат, у него, согласно плану, я предполагал заночевать. За несколько часов проехав двести километров, солнечным днем я высадился на въезде в город. Раньше, чтобы веселее идти по длинной незнакомой дороге, я представлял, будто снимаюсь в приключенческом или шпионско-фантастическом фильме. Теперь, сверяясь по карте и уверенно двигаясь к вокзалу, я в этом был почти уверен.

У трехсотметровой копии МГУ в центре города я глазел на новенькую машину, приделанную для рекламы к стене высотки на уровне седьмого этажа. Потом я увидел свое отражение. В потоке людей и автомобилей, где все спешили по своим делам, я смотрелся довольно странно, как приведение на картинке мало понятного мира. Соприкасаясь с ним только взглядом, приведение, как и полагалось, было печальным и отстраненным.

— Здесь весной шестьдесят седьмого года выступали Роллинг Стоунз, — услышал я. Рядом молодой мужчина, указывая на высотку, рассказывал своей спутнице. — Первый их концерт в соц-странах. После него «ролинги» ездили по городу и разбрасывали свои пластинки.

— Зачем? — удивлялась девушка.

— Наверное, увидели после концерта, что творится вокруг, и поняли как круто, что они приехали. Потом в газетах писали: «Вчера в Варшаве был ураган? Нет, это приезжали Роллинг Стоунз!»

— Сегодня в Варшаве будет легкий ветерок, я пройду незаметно, — поддержал я разговор, хотя и не был услышан.

Алекс и его жена Милка встретили меня, как старого приятеля, я прожил у них пару дней и был полон радостных чувств. Вечерами мы слушали музыканта, которого Алекс называл польским Гребенчиковым, и ели фрукты с вином.

— Это что за бутылка огромная под столом? Знаменитую польскую вишневую наливку делаете?

— Не, это другая, заливается полбутыли спирта, а потом в течение лета туда бросают ягоды и плоды, которые поспевают, сейчас вот бросаю шелковицу и вишню, потом зимой это пьется. Мой тесть Вацлав так делает.

Милка не понимала ни слова по-русски, но, услышав имя отца, радостно закивала. Жена у Алекса, и правда, была милой, она почти всегда улыбалась. Она преподавала детям рисование в начальной школе, объездила всю Европу, знала французский и итальянский.

— Слушайте, я пока из Белостока добирался, раз десять спрашивал дорогу. Мне все отвечали «просто», но дорогу так толком никто не показал. Почему?

— По-польски «просто» это «прямо».

В небольшой студии было уютно и чисто. Улица за окном выглядела, как на холсте художника, она уходила вдаль к облакам в лучи солнца. Лица и глаза Алекса и Милки чуть светились, и я им подмигнул:

— В Варшаве жить можно.

Утром я бодро шагал по Краковскому проспекту мимо довольственных складов и оптовых магазинов. Я пересек город от края до края и довольный этим фактом вышел на трассу Е-7.

Дорога сначала складывалась неплохо. Солнце было в зените, и я почти добрался до Кракова. Однако километров за сорок до города встрял и несколько часов гулял вдоль дороги. Я пообедал, искупался и переждал под деревьями жаркий зной, явно предвещавший грозу. Место не походило на заколдованное, но мой водитель задерживался надолго. Уже темнело, и я подумал, что эту ночь придется провести у дороги. Присматривая место для ночлега, я решил махнуть напоследок показавшейся машине.

На мою удачу водитель остановился, веселый и бодрый, как и полагается молодому обладателю автомобиля с мощными сабвуферами и хорошего здоровья. Он еще помнил советские времена и многие русские слова к тому же говорил, как и я, на непринужденном ломаном английском, так что общались мы с ним бодро и весело. Он охотно согласился слушать мою кассету с Manu Chao, от чего нам стало еще бодрее и веселее. Не дослушали мы и первой стороны, как парень указал вперед в темноту, поблескивающую огнями:

— Краков! Тебе куда?

Рассказывая о своем путешествии, которое, по сути, только началось, я поймал себя на мысли, что мое повествование уже не так оптимистично. Парень проникся моим положением:

— Отвезу тебя в хостел для студентов. Там дешево. Очень вкусные завтраки.

Я не стал говорить, что денег у меня в обрез, только на воду и спички. Спокойно высадился у хостела, поблагодарил и отправился в парк поблизости. Было влажно. Я долго не мог уснуть. Вездесущие слизни полюбили мою прорезиненную плащ-палатку, я то и дело натыкался на них, пока все-таки не задремал.

— Здесь спать нельзя! — услышал я сквозь сон. — Ты кто? Что ты здесь делаешь?

— Я студент. Мне рано утром в дорогу, — бормотал я не в силах проснуться. — Несколько часов поспать бы.

— Нельзя. Уходи.

— Подождите немного, — не соглашался я. — Очень хочется спать.

— Эй! Проснитесь! — раздался крик прямо надо мной.

Я вскочил, окончательно пробудившись. Рядом стоял какой-то человек и светил мне в лицо фонариком. Он что-то громко говорил.

— Я по-польски не понимаю, — сказал ему я. — Ни разумею по-польску.

— *Jaki język mówileś do mnie teraz?* — услышал я и вдруг понял сторожа, он спрашивал: — А на каком же языке ты сейчас разговаривал со мной?!

— Наверное, это было во сне, — стал оправдываться я.

— Со?

— *Nic!*

Сделав вид, что ухожу, я притаился в другой части парка и благополучно доспал ночь.

У меня были скопированная от руки карта и список достопримечательностей города. Мне довелось увидеть только одну — внушительно возвышавшийся на холме левого берега Вислы Замок Польских королей. С резвостью любознательного туриста я пробежался внутри огромных залов и усыпальницы. Ничто не тронуло моего сердца, эти декорации лишь напоминали о бренности мира. Хотя других замков я не видел, своего как-то не захотелось.

Отдыхая перед дальней дорогой, я сидел на лавке с видом на крепостную стену и грыз пломбир, свой завтрак и обед. Рядом по кольцу ходили трамваи. Провожая взглядом маршрут номер 8, я вспоминал, как такой же красный трамвай едет по знакомым улицам родного города.

— Вернусь... эх, прокачусь, — пообещал я усопшим местным королям и взялся за рюкзак.

Чем труднее была дорога, тем больше я разговаривал с собой или с пробегающими мимо животными. А иногда даже с деревьями, столбами и большими камнями.

— Это уже второй польский город, который пришлось пересечь от края до края, — сказал я собаке, устало присаживаясь у дороги.

Собака была старой, что-то грызла и недовольно ворчала.

— Прогулка была не из самых приятных, — продолжил я наш разговор. За два часа я протопал километров десять вдоль Вислы.

Мимо проезжали машины, оттуда на меня смотрели без всякого любопытства.

— Надеюсь, дальше мне повезет, — ответил я на тревожный лай.

Я не угадал. Раза три меня подвозили километров по десять-пятнадцать, и я оказался неизвестно где, у не приметного своротка на пустой дороге под сеющим дождем. Вечерело. Я мерз от сырости. Приглядевшись, увидел одинокий стог сена и побежал к нему. Испытывая, все прелести бродячей жизни, я глядел из укрытия на темное небо и мысли были только обо всем теплом и уютном.

На дорогу я вышел с рассветом и в Закопане попал к полудню под нескончаемым морозящим дождем. Городок жил неторопливой курортной жизнью. Первые встречные оказались мелкими хулиганами. Зубоскаля, они выпрашивали у прохожих мелочь на пиво. Я ответил им нервным приступом страшного смеха и непереводимого потока слов, понятно было только:

— Не мам пенендзы! До видзэня! Вшистко!

Парни не сразу решились применить силу. Не знаю, о чем они думали, глядя мне вслед, но, поняв, что остались ни с чем, закрычали:

— Эй, курва! Пжестань! Дач пенендзы!

Но я лишь прибавил шаг. Бежать под дождем вверх на горку лихие ребята поленились.

Еще подбегая к Закопане, я выяснил, что на границе нужно заплатить десять долларов, чтоб попасть в Словакию. Не желая лишаться последней наличности, я решил перейти границу нелегально.

Дождь поутих и только голод остановил меня. На удобной полянке у подножия Татр я разводил костер. При себе у меня был котелок, мешок гречки и подсолнечное масло, купленные еще на Алтае. Не успел огонь разойтись, как из-за дерева появился человек в форме и вежливо объяснил, что разводить костры на территории заповедника запрещено.

— Да мне бы только воды вскипятить для чая, — упрасивал я.

— Идите в Закопане и пейте там чай, — не вникал в положение человек в форме.

Поднявшись в горы, я забрался в чащу. Быстро сготовил гречку, заварил чай из местных трав и заночевал под завалом сосновых веток, укутавшись в плащ-палатку.

Границу мне пересечь не пришлось. С утра загромыхало и полило. Промокший насквозь от высокой травы я заплутал и с трудом выбрался из леса. Спустившись к ручью, я долго брел вдоль берега, гадая где нахожусь, как вдруг увидел сидевшую у ручья девушку, ее длинные волосы чуть касались воды. Только я подошел ближе, чтобы спросить — не Словакия ли это, как девушка первой задала вопрос:

— Сколько время, который час?

— Одиннадцать. Где я?

— В Закопане, — указала девушка за ручей. — Там вниз по тропинке мостик.

Так я познакомился с Сильвией. Неспроста ее звали, как Сильвию Аквитанскую, путешествовавшую в четвертом веке в Нижний Египет. Моя знакомая Сильвия жила в самом начале двадцать первого, а ее прабабушка была цыганкой и во времена Речи Посполитой лично гадала великому князю Мирославу. Наша неожиданная встреча под дождем в Татрах была знаком будущей жизни, когда друг друга находят сердцем.

Сильвия сидела у воды, мыла клубнику и вишню. Время на ее часах остановилось, лишь упали первые капли дождя, зацедившего сквозь сито ветвей так безнадежно, что тропинки полные туристов опустели в несколько минут. Сильвия боялась опоздать на дневной поезд и обрадовалась, увидев человека с рюкзаком.

Плохо понимая язык собеседника, мы все же выяснили, что близки друг другу. Сильвия показала альбом, хранивший гербарий, аккуратно собранный в горах. Я узнал многие растения и пообещал проводить ее на поезд. По дороге я учил Сильвию пудить вишневыми косточками при помощи большого и указательного пальцев. Смеясь, Сильвия рассказала, что сначала приняла меня за английского студента, которому предстоит веселая свадьба, где он сломает ногу. Она призналась, что умеет гадать, и взяла

мою ладонь. Сильвия предсказывала, что прежде, чем войти в новую жизнь, я буду обречен на долгую пыльную и голодную дорогу бродячего пса, чьи лапы в вечном стремлении бежать ничего не обретают и не оставляют за своей спиной. И мир этого пса похож на обглоданную кость, которую он тащит в пасти. Мне не очень понравилось такое предсказание, и я поморщился.

— Но, как говорил Фома Аквинский, человек сильнее звезд и заклинаний, ему дано Богом побеждать свои страсти, — в заключение сказала Сильвия и загадочно добавила: — А воды не избежать.

Я навсегда запомнил Сильвию, ее предсказание и записал адрес: Sylwia Imiolczyk, ul. Teczowa 3/12, 44–200 Rybnik, Poland. Передайте кто-нибудь привет, если будете в тех местах!

Усаживая Сильвию в вагон, я уже был готов остаться там же, чтобы ехать с ней в город рыболовов. Она мягко выпроводила меня и помахала ручкой. Поезд тронулся. Я стоял на перроне и думал о людях, оторванных от родины, друг от друга. О разных скитальцах, в поисках счастья и судьбы уходивших на дно, умирая от жажды.

— Ну вот теперь я знаю, как это бывает. Вышел из дома просто водички попить, а тебя уже накрывает волной в бурной бесчувственной реке жизни. И не знаешь, куда она тебя влечет: то ли на дно, то ли за ближайший поворот, — сказал я, глядя на фонарный столб, стоявший посреди перрона, как заносчивый пан.

Было немного грустно от этого ощущения непрекращающегося потока жизни. Когда трудно понять — ты в лодке или, как бревно, крутишься вокруг своей оси. И есть ли разница? Я смотрел на Татры, а за ними видел горы Алтая, слушал журчание горной речушки, и казалось, что на другом берегу кто-то напевает «Ходют кони...».

— Да, многоуважаемый столб, покой и радость могут быть везде, где тебя любят и ждут. Но там, где я родился, покой и радость лежат прямо под ногами, их можно набирать пригоршнями, прикладывать к ранам и дарить любимым. Хочу туда.

Автостоп шел как по накатанной. Влекомый желанием что-то еще увидеть и успеть за эту поездку Варшаву я проезжал ночью на грузовике. Водитель, бывший моряк, видевший Тихий океан и Владивосток, имел при себе книгу Тадеуша Ружвича. Вез

он меня в сторону Гданьска, мы оба были рады знакомству и развлекались интересной беседой. Я открыл наугад книгу и прочитал:

— Мы с тобой одно целое. Твоя рука — это моя рука, твои глаза — это мои глаза. Понятно... Хороший писатель.

— Похож на вашего Булгакова, — сказал образованный водитель.

Я был приятно удивлен такой начитанностью.

— Хочу увидеть ваш замок Мальборк, — ткнул я в карту рядом с Гданьском и игриво напел: «В поход Мальборк собрался».

— В поход Мальбрук собрался, — поправил водитель. — Мальборк — это старый тевтонский замок, там руководители Третьего Рейха сходились важные вопросы решать.

— Ну тогда Мальбрук в Мальборке собирался.

— То добже, — усмехнулся бывший моряк.

Лучшая за всю дорогу машина, самая что ни на есть литературно-морская, везла по незнакомой земле, рассеивая во мне чувство отчуждения. В ее кабине я ощутил всю мистификацию жизни, сотканную внешним миром, я увидел настоящую жизнь, подающую знаки своей ясности в самых невероятных формах.

В Гданьске я не задержался. Мой приезд пришелся в канун грандиозного наводнения. Природа всю намекала на скорую катастрофу: прибрежная морская вода покрылась неприятной коричнево-зеленой тиной, а небо затянуло черными тучами. Антикварную ярмарку отменили, и искать Базина с Ромой в разстроенном городе было невозможно. Переночевав у моря на пляже по уши в песке при свете полной тревожно-красноватой луны, я решил убраться подобру-поздорову. Но прежде я сделал то, о чем мечтал, — смотался в Мальборк на пару часов. Гуляя вокруг замка, впечатленный его огромной трапезной, я не удержался и купил сувенирную бутылку с кораблем внутри.

— Я выбрал тебя, хотя жрать мне хотелось сильнее, — радовался я кораблику. — Не скучно тебе в бутылочке, малыш?

Вопрос, видимо, был на засыпку. Через сутки перед самым Белостоком перевозившая меня машина съехала в кювет, нас сильно потрянуло. Водитель и я достали вещи, осмотреть все ли цело, из разбитой бутылки выпал кораблик.

— Теперь ему одна дорога — в море, — сказал водитель.

Вечером я шел по Белостоку, еле переставляя ноги. У знакомого вишневого сада я остановился и прислушался. Мне показалось, что до меня донеслось:

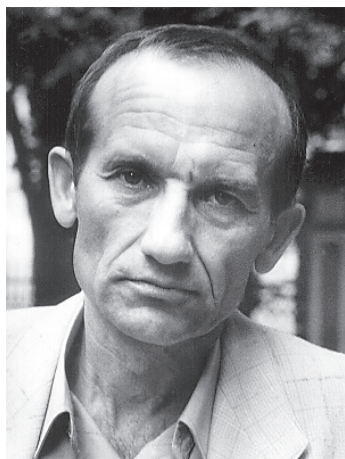
— Ходют кони...

Я точно знал, что Ромка и Базин в Гданьске, тряхнул головой и пошел бодрее. Пани Хелена и жена Ромки сидели у телевизора и ждали новостей. Наводнение смыло пол-Гданьска, показывали затопленные улицы и дома, а вестей от Базина и Ромки так и не было. Под утро они позвонили, весело кричали в трубку что-то о кораблях, унесенных в море, о спасенных ими антикварах.

— Пьяным и море по колено, — сказала Ромкина жена, виновато глядя на нас с пани Хеленой.

— Ага, — согласился я. — Ну раз все хорошо, все живы-здоровы, пойду вещи собирать.

Первая электричка катила в сторону Гродно, я весело покачивал ногой и в ритме регги напевал: «Ходют кони...»



Игорь Шкляревский

Родился в 1938 году в поселке Бельничичи Могилевской области, в Белоруссии. Работал литейщиком, токарем, матросом торгового флота, геодезистом, землемером. Учился в Могилевском пединституте. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многочисленных поэтических сборников. Лауреат Государственной премии СССР, премии «Болдинская осень», Царскосельской и Пушкинской премий. Живет в Москве.

Утешения

Отошла земляника,
но поспела черника.
От черники язык ещё синий,
а уже мы в малине.
Собираешь малину губами,
а уже потянуло грибами,
паутинные ткуются дожди.
Засинели в лещине прорехи,
а в портфеле — орехи!
Что-то было всегда впереди.

Ориентация на местности

— Далеко ли отсюда река?
— Да рядом! — отвечает мальчик,
объезжая лужи на велосипеде.
— За лесом, — уточняет женщина,
показывая в поле,
как будто я шпион

и в удочке моей
запрятана антенна.
Нельзя у женщин
спрашивать дорогу.
Надежней — у гусей,
у сенокоса.
А если ночью,
то у коростелей.
На берегу, как тёмные отели,
стоят стога...
Находишь их лицом
и утопаешь в клеверной постели.
Бывают дни, когда
всё как бы незнакомо.
Безлюдный двор,
бездонная вода...
И лучше до утра
не выходить из дома,
не уходить из дома никуда.

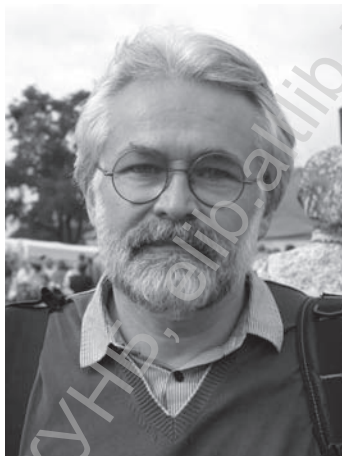
Воспоминание о славгородской пыли

Это пыль на обочине
или поэзия пыли,
или полустихи, полупроза
с отпечатками пальцев завхоза
на бутылках портвейна
молдавского красного.
Тихий Славгород в жарком июле,
иногда проезжает по улице автомобиль
и за ним подымается облако пыли,
залетая в окно бухгалтерии УЖКХ.
Все ушли на обед и окно не закрыли.
А оттуда по радио
плачут виолончели.
Голос диктора:
— Каприччиозо Сен-Санса.

И взмывает душа,
вспоминая качели.
На обочине белой дороги
долго ждём грузовик
и курлычет под камнем родник.
Удлиняются тени, уходит жара.
С огурцом в кобуре участковый
высматривает завхоза,
объезжая плакучие ивы над Сожем.
От него не уйдёшь...
Пыль показывает следы.
Их приятель лесник
истерзался вопросом:
почему нам всё время видна
одна сторона Луны?
Неужели Луна не вращается?
Плачет после второго стакана,
под задумчивым взглядом завхоза.
Между тем раскалённое солнце
зашло за леса
и на Славгород с неба спустилась прохлада.
— Посоли огурец и не плачь.
— Наливать ему больше не надо.
Тихо реют под звёздами их голоса.

Станислав Минаков

Родился в 1959 году в Харькове.
Поэт, прозаик, переводчик, эссеист,
публицист. Жил и учился в Белгороде.
Автор поэтических сборников
«Имярек» (1992), «Вервь» (1993),
«Листобой» (1997), «Хожение» (2004),
«Невма» (2011), «Снить» (2014),
а также книг прозы, энциклопедий
и альбомов. Лауреат многочисленных
литературных премий.
Живет в Белгороде.



Мама стала махонькая, как котик.
Мама стала тихонькая, как мышка.
Мама еле-еле по дому ходит.
Гречку перебирая, лапкой гребёт, как мишка.

Мамины дни теперь ни пестры, ни пёстры —
мелкой моторикой их не унять, итожа.
Старость и немощь — тоже родные сёстры,
так бы поэт сказал, если б только дожил.

Мама крючком салфетки плетёт, платочки,
превозмогая тернии Паркинсона.
Если идти, то надо идти до точки —
где золоты цветы на кайме виссона.

Дышит ветер неспешный заветный,
овевая невидимый сад.
Ходит тихо Господь безответный
посреди обезумевших стад.

Никакого им сада не надо
и не надо для сада рассад,
потому что рассада для ада
им отрадней, как собственно ад.

Потому что не кущи, а рощи
разрастаются в тёплой крови.
Потому что бездумней и проще,
и привычнее жить без любви.

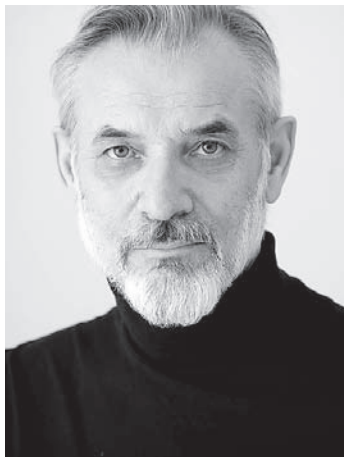
Ты стареешь. Но всё ж не очень.
А собака — стареет быстро.
Увядает от ночи к ночи,
как карьера премьер-министра.

Отвисают у пёски ушки,
как тесёмки у старой шапки,
льнёт седая башка к подушке,
не вмещаются лапки в тапки.

Окликаешь зверька из бездны
и моргаешь на мониторе,
но старания бесполезны —
даже если полезно горе.

Понапрасну твой голос дышит,
ничего у тебя не выйдет:
даже если собака слышит,
то мерцаний твоих — не видит

в нетех тщетного интернета.
Кроток сфинкс у камней Хеопса.
Нет на свете грустней портрета —
носогубные складки мопса.



Николай Гайдук

Родился на Алтае в 1953 году. Детство прошло в селе Волчиха. Окончил медицинское училище, Алтайский государственный институт культуры, Высшие литературные курсы. Поэт, прозаик, автор книг стихов и прозы. Член Союза писателей России.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ

Первого октября похоронили маму. Похоронили скромно, тихо. Как жила она, так и ушла. Хоронил я на трезвую голову и потому такие мелочи запомнились, что просто жуть... А второго октября я уже толкался в коридорной очереди в Волчихинской больнице. Нужно было забрать свидетельство о смерти. Выстаивать пришлось довольно долго. И довольно странно было наблюдать: время от времени дверь открывалась и в морду мне наотмашь бил жизнерадостный смех — люди в белых халатах, они там чирикали о чем-то своем, о девичьем...

В Волчихе пробыл я девять дней. Как будто ждал, когда Господь прикажет ангелам своим душу матушки моей принести Ему на поклонение. Ждал, когда душа ее пречистая отлетит от тела и, может быть, звездой воссияет над полями алтайскими, над косматым бором Касмалинским.

Теперь вот возвратился в город Дивный. Будто бы к разбитому корыту возвратился — все представилось ненужным и никчемным. Жизнь продолжается, конечно. Только уже как-то не так продолжается — Земля как будто вертится уже в другую сторону.

Смотрю на дивногорские туманы, а перед глазами колыхнется туманно-серое свидетельство о смерти. И я время от времени думаю о том, что написать бы мне «Свидетельство о жизни» — широкое и многоцветное свидетельство о жизни моей матушки, простой русской женщины, рожденной в 1930 году, пережившей и голод, и холод, и войну, и разруху, и восстановление страны, и развал Советского Союза. Все это пережившая — душе и совести не изменившая, она потрясает меня своей сиротливой и неприветливой судьбой. Да, написать бы, думаю. Но как-то жутковато подступаться к этой тяжкой теме. Боюсь, не подниму. Боюсь, что вынесет меня за орбиту обозначенной темы и полетят клочки по закоулочкам — клочки воспоминаний, ассоциаций...

Перед отъездом из Волчихи перебирал старые бумаги и фотографии у мамы в доме. И вдруг наткнулся на конверт с кроваво-красным крупным штемпелем: МОСКВА. КРЕМЛЬ. Волчиха, Алтайского края, улица Матросова, 17, кв. 9. Читаю — глазам не верю. Но потом-то дошло: такие письма веером по всей России рассылала кремлевская администрация, поздравляла ветеранов и детей войны с праздником Победы. Под письмом — факсимильная подпись президента. Читаю это письмецо, а рядом балаболит телевизор — опять и опять сообщает о многомиллионных взятках, о чиновниках, о губернаторах, схваченных с поличным. И тут же в голове моей начинают крутиться обрывки рассказов, услышанных в эти печальные дни: Ивана Ильича, моего отчима, умершего весной 2016 года, в морге обмывали за 500 рублей, а мамку — так мне рассказывали — за 1500 рублей окатили из шланга. Вот так взопрели цены за год с небольшим. А похоронные деньги — 6 тысяч. А пенсия у многих в нашей стране — чуть больше похоронных. Проще подохнуть, чем жить на такую подачку.

Я встряхну головой и подумаю: нет, не смогу я эту тему разработать. Лучше застрелиться и не встать, чем описать весь тот позор и ужас, в котором сегодня толчется большинство людей в моем Отечестве. А телевизор — теперь уже здесь, в Дивногорске, — продолжает тарыхтеть. Теперь мне сообщают о достижениях, о том, как многоумные правители побороли инфляцию, убили колорадского жука и отправили в Сирию гуманитарную помощь на миллионы рублей, а миллиарды долларов простили странам Африки

и еще простят кому-то там. А перед глазами у меня раздавленные скромные цветы на земле — брошенные перед старой машиной, на которой маму повезли в последний путь. Перед глазами ее потрясающе скромный наряд, в котором она и предстанет перед Господом Богом. Перед глазами у меня сухой и солнечный денек — первый день октября, красно-желтый листарь шабуршит под ногами на кладбище, откуда видна золотая игла Покровской церкви, новой церкви, которую — случайно, нет ли? — освятили в Волчихе именно 1 октября. Перед глазами у меня дрожня дрожит солнечный свет у мамы на лице — последний свет, прощальный свет. ТОТ СВЕТ, который светит мне теперь, как будто манит, манит за собой. «И свет во тьме светит, и тьма не обнимет его», — приходят на память слова старинного священного писания.

ПОМНИТЬ О ВЕЧНОМ

Микроскопический дождь моросил над горами с утра, мелким бисером нудил по-над тайгой, над озером, где прилепилась на каменном выступе добротная охотничья изба. Солнца нигде не видать — даже слабого намека нет за облаками. Раноутренний туман сметанился — густой, пахучий. Изредка откуда-то с каменной вершины ветровей на цыпочках сбегал, мягкими губами пощипывал траву, шаловливыми щелчками — словно щелбонами — сбивал перламутровые капли с кедров. Космато, лениво — будто в замедленном кино — туман заползал на гранитную кручу, но вскоре так же лениво скатывался к берегу, придавленный свинцовой бесконечной моросью. «Здесь теперь все цветы — водосборы!» — подумал я, с улыбкой глядя на сибирскую аквилегию, под дождем погасившую розоватое пламя своих лепестков за окном. Непогодица, как видно, затягивала свой крепкий узел. Вертолета в ближайшее время ждать не приходится. Ну, и ладно, что ж, не будем жданки попусту жевать. Торопиться некуда, и потому я не только не печалюсь — я даже искренне рад затихориться в этом чудном месте и как можно дольше побыть наедине с матушкой-природой.

С утра в моем таежном, таинственном пристанище по углам клубится голубоватый сумрак. Потрескивая, топится печь, возле которой стоит полутораметровый ожиг — деревянная кочерга, дочерна обгоревшая на конце. Дверца в печи прохудилась от старости — желтые блики по стенам порхают, высвечивая усы и бороды белого мха, торчащего между пазами разошедшихся бревен; торфяные мшаники всегда седые. Чайник, закипая, воркует, как сизый голубь с дымчатым налетом. По стеклу чуть слышно клюет прохладный дождь. Под ветром за стеною сырой кедрач вздыхает, словно старик, вернувшийся с охоты. И все это настраивает душу на воспоминания.

Бродячая судьба моя богата разнообразными, разноцветными впечатлениями. Теперь, по прошествии лет, я все чаще изумляюсь, глядя в прошлое. Бог ты мой, какие чудеса дарила жизнь! Дороги в тайге и в полях, в горах и на море!.. Дороги по странам и континентам... Но нигде и никогда я не был ни зверобоем, ни птицебоем, ни китобоем — невинную кровь проливать не хотелось. В юности, окончив медицинское училище, поработав доктором в сибирском захолустье, я насмотрелся крови — до красных чертиков и не хотел этих самых чертиков преумножать.

В степных раздольях или в тихом таинстве тайги, в горах или на море у меня была своя охота — страстная охота за стихами, песнями, рассказами. Сочинительство — подарок Всевышнего, и одновременно этот же подарок является едва ли не наказанием. За что это дается человеку? И зачем? До сих пор я не знаю и понять не могу. Знаю только, что теперь не прожить без этого — настолько сильна и серьезна попытка осознать и выразить себя в этом мире и весь этот мир, живущий в душе. Долгое время, не имея своего угла, я сочинял на ходу, на лету — в самолетах, пароходах, поездах. Но нигде не сочинялось лучше и отрадней, чем среди красоты нашей русской природы, где так хорошо отрешиться от суеты, подумать о вечном, нетленном.

Зверя или птицу невозможно обмануть — на большом расстоянии чувят они, кто и зачем пожаловал в таежную обитель, вооружен человек или нет. Поэтому, когда я был вооружен только «гусиным пером», — природа не боялась. Близко к себе подпускали глухари и зайцы, рябчик, утка и даже медведь, с которым одна-

жды «посчастливилось» столкнуться на речном перекате — ко-солапый, мохнатый рыбак на мелководье пудовыми лапами рыбу глушил; до сих пор стоит перед глазами мокрая морда зверя, и таймень, располосованный железным когтем.

Часами любил я просиживать на берегу, валяться под сосновым ароматным пологом или под березой на поляне, густо вышитой золотыми пятнами жарков, синими накрапами незабудок, ветреницей или горицветом. Летом — лепота, легко и весело бродить из края в край. Летом каждый кустик ночевать пустит. Другое дело — осень, когда последний гром расколлет небо и начнет под ухом нудить мокрогодица — льет и льет, без конца. Осенью трудно в тайге без сухого угла, а уж про зиму и говорить не приходится. Зимой далеко не убредешь — снега не пускают, морозы прислоняют к теплой печке. Однако и зимою в моей судьбе случались такие чудеса, какие только в сказках можно повстречать.

Чудеса эти были на Крайнем Севере, где свирепая стынь с пушечным буханьем рвала граниты, деревья в тундре. Петухами в небесах пробегали позари — северное сияние. Над горами вдали крупные звезды мерцали алмазным крошечком. А в другой стороне, над бескрайнею тундрой, луна горела в полный круг и в полный жар — снеговье серебрилось на многие, многие версты, пламенело холодным пожарищем. За двери выйти жутко — стужа задерет. Зато в избе — натоплено, в приемнике плещется музыка; что-то знакомое слышится. И вдруг ты узнаешь и улыбаешься, точно старинному доброму другу: «Да это же Чайковский! «У камелька». И так хорошо, так приятно в теплом зимовье, так задушевно музыка звучит — сидел бы и сидел «у камелька», беззаботно предаваясь мечтам или воспоминаниям. Окно оковано серебрецом, но можно подойти и подышать — появится темно-сизый глазок, и под звуки бессмертной музыки ты вдруг увидишь нечто такое, от чего душа твоя счастьем зацветет. В морозном тумане, в лазоревой дымке полярного, краткого дня над сутробами встает миражами, цветет и плывет былая Великая Русь. Колокола звонят — на всю округу весело расколоколились. Избы топятя, дети играют, снегириями раскрасневшись на морозе. Масленица пляшет и во весь дух поет, не боится горло простудить. Кони сверкают подковками — русская тройка несется, приглашая тебя улететь на край света...

Память — и спасибо ей за это! — играючи может творить чудеса. Из белоснежных северных широт мысли мигом уносятся на желтый, жарко-знойный экватор. Вспоминаются южные страны, куда я ходил моряком, где мечтал на всю жизнь бросить якорь, беззаботно валяться под пальмами, греть пузцо да бананы жевать. О, молодость! Глупая молодость! Много лет миновало, покуда в полной мере осознал, оценил красоту и все прелести нашего русского разнопогодья. Как это здорово, как это дивно, когда весна, к примеру, плавно перетекает в лето, а там, глядишь, прохладный август руку уже протянул в сторону осени, а там, глядишь, предзимье одуванчиковым пухом распушило первый снег, и вот уже опять «зима катит в глаза». Это ли не чудо? И счастье наше русское — не в этом ли? В каждом времени года — свои великолепные, нетленные картины, сотворенные Всевышним. Есть ли что-нибудь прекрасней тех картин?.. Один мой товарищ — теперь господин — на исходе двадцатого века променял морозную Россию на теплую, вечнозеленую землю, чтобы потом, прилетев из заморского сомнительного рая, с грустью признаться: «Вы счастливы хотя бы тем, что здесь, в России, постоянно живете ожиданием прекрасных перемен в природе. А там, за морем, среди вечной зелени, душу гложет вечная, зеленая тоска!»

Давно уже я не мечтаю о жарких странах, о больших расписных теремах. Плохо это или хорошо, только со мною случилось примерно так же, как в стихах русского лирического гения: «Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло не кляню!» Седой, утомленный дорогами, издерганный тревогами, я все чаще думаю о простой бревенчатой избе. Купить бы, а лучше срубить — вот было бы мило дело! — своими руками сочинить по бревнышку скромное нехитрое жилище, а рядом с ним часовенку поставить где-нибудь в боровом захолустье, на берегу синеглазого озера или хрустальной речушки, звенящей горлом родников, поющей на манер пастушеской свирели. Обосноваться бы там, спокойненько жить, зимовать-летовать, думу светлую думать и лучезарным пером жарптицы писать о добром, вечном. Умываться росой, упиваться березовым соком. Блаженно уставая, босиком колобродить в траве и цветах. Пощипывать за красные бока землянику, малину. Провожать вечернюю зорю, рассыпавшую безоблачное золото в пол-

неба. Слушать милые сердцу напевы соловья, глухаря, свиристели. Слушать вздохи ветровея, шепоток листвы и муравья. Запрокинув голову, целовать глазами новорожденный месяцок, разгадывать-распутывать узоры седовласых созвездий. Смотреть, как в темень падает очередная божья спичка — сгорающая комета. И без грусти, без печали сознать, что все мы смертны и что где-то там уже горит последним светом твоя благословенная звезда. Скоро ли закатится она? Зачем гадать, когда в запасе есть еще эта огромная ночь, а за ней, глядишь, придет огромный день.

Встречая солнце, я творю молитву в тишине — молитву древних старцев, отшельниками живших когда-то на Руси. И не потому ли кажется порою, что вот здесь, в чистом воздухе русского леса, в шорохе и шепоте его растворена благодатная сила молитвы?! Здесь, и только здесь могу я быть счастливым — дышать полной грудью и впитывать радость каждого нового дня, благодарить Творца за эту жизнь, учиться терпеть и надеяться, верить, прощать и любить.

ЯНТАРНЫЙ СТИХ

Иногда мне снятся большие самолеты, серебристой молнией летящие по небу. Снится Прибалтика, Латвия. Легковая машина с ветерком проносится по живописной дороге — тридцать пять километров от Риги, и вот оно, распаханное ветром, засеянное солнцем Рижское взморье. Вот она — благословенная Юрмала. Дом творчества писателей стоит на берегу, окруженный сосновой стеной лесопарка, который теперь называют Национальным парком Кемери.

Рано утром выйдешь — тихо в мире, благостно. Солнце янтарным камешком лежит в туманах на горизонте. Шелковый шорох прибоя в ногах. Свежий ветер в лицо. И шумят, и шумят за спиной величавые, удивительно мощные сосны, на кряжистых лапах подошедшие к самой воде. Кажется, рано проснулся ты, литературный жаворонок, а на самом-то деле здесь уже немало тех, кто просыпается гораздо раньше. Смотришь — кто-то «бегом

от инфаркта» спасается, оставляя влажные следы на кромке взморья. Кто-то в одиночку бродит, кто-то в обнимку. Смотришь — кто-то нагнулся во время прогулки и что-то поднял. Янтарь, конечно. Тут янтарь встречается довольно часто — золотисто-солнечные камешки. Собиратели янтаря — и молодые люди, и пожилые — попадались иногда такие одержимые, как будто они собирались обустроить где-то новую янтарную комнату — взамен волшебной той, что бесследно пропала во время войны.

Равнодушный к этим собираниям, я просто любил побродить около взморья, поглазеть в туманную даль, где белый парус на ветру колыхался чайчьиим крылом. Но золотистые камешки, встречавшиеся под ногами, не могли не волновать воображение лирика. Все чаще нагибаясь — поклоняясь янтарю, — я замирал, поднимая мокрый камешек и глядя на него сквозь солнце. Прищуривая глаз, я любовался каплей янтаря, в котором будто бы закипали золотинки солнечного света. И в душе моей вскипало предчувствие какого-то «янтарного стиха», который будет посвящен вековечным соснам, в результате «потопа» оказавшимся на дне глубокого моря, откуда теперь штормовая волна выносит на берег мелюзгу окаменелой сосновой смолы. Но стихи это дело такое — они сегодня сами на бумагу просятся, а завтра их не сыщешь днем с огнем. Никакой «янтарный стих» тогда не написался на Рижском взморье. Но зато я услышал довольно мудреное слово — инклюд. Двое собеседников, бродившие по мокрому песку, собирали янтарные камешки и обронили это словцо. «Интеллигентные вроде бы люди, а так ругаются! — Я усмехнулся, глядя им в спину. — Интересно, что бы это значило: инклюд».

Поскольку мы ленивы и не любопытны — и я тут не исключение — мудреное «ругательство» было вскоре забыто. И только через годы, через расстояния вспомнился мне тот загадочный, странный «инклюд». Вспомнился, когда уже не стало Советского Союза; когда Латвия, Эстония, Литва отгородились границами; когда для меня, как, впрочем, и для многих других людей пропала возможность опять оказаться в Прибалтике, прогуляться по Рижскому взморью, поклониться янтарному берегу. Теперь я все больше и больше путешествую примерно так, как об этом сказано в поэме Твардовского:

Есть два разряда путешествий.
Один — пускаться с места вдаль.
Другой — сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.

Привычка рыться в курганах книг, перелопачивать словари помогла разгадать загадку странного слова «инклюдз» — вкрапление останков живого организма в янтарь: это может быть насекомое, былинка, лепесток цветка или что-то подобное. И теперь — в минуты хандры или грусти, в минуты отчаянья — завел я привычку доставать свой заветный янтарь, привезенный когда-то с берега Рижского взморья. Сижу, смотрю на сказочный золотой «инклюдз» — вкрапление далеких прошлых лет. Там плещется море, и чайки хором поют. Там слышится в Домском соборе музыка могучего органа. Там любовь и молодость смеется беспечным смехом. Там мир еще не помешался на деньгах, и там существует одна только жадность — жадность жить и дышать полной грудью.

Внимательно всматриваясь в янтарь — окаменевшую каплю прибалтийской смолы, — я вспоминаю сосны родины моей и невольно думаю о том, что после смерти душа моя вернется к этим соснякам. Обязательно вернется, гнездо себе сошьет в густой высокой кроне, где медово пахнет тягучею смолой. Там какое-то время будет жить-поживать моя грешная душенька, песни будет петь в обнимку с соловьями и заодно с глухарями; тихими и темными ночами душа моя будет слушать, как звезда с звездой говорит. Но время — жестокая штука, никого не щадит. И наступят печальные сроки, когда ветер немилосердно выветрит гнездо моего беспокойного духа. Потом запылятся, забудутся книги, рожденные мной, и растворится память обо мне. И только, быть может, какая-то капля души непостижимым образом перетечет в золотую каплю янтаря, который однажды попадетсч человеку на глаза и обожжет солнечными искрами, похожими на несказанный янтарный стих.



Владимир Коржов

Родился в 1947 году в Барнауле. Окончил историко-филологический факультет АлтГУ. Работал слесарем, токарем, компрессорщиком, служил на Барнаульской спасательной станции матросом-спасателем. Автор прозаических и поэтических сборников. Лауреат ряда краевых литературных премий. Живет в Барнауле.

ДЕБАРКАДЕР «ТАТАРЧОНОК»

Главы из повести

Дебаркадер «Татарчонок».
Жизнь — малина, просто рай!..

На теплоходе

Двухпалубный теплоход «ВТ-61» неспешно отвалил от барнаульской пристани, и, взрезая форштевнем белесовато-стальную с редкими хлопьями желтоватой пены июльскую воду, пошел вверх по Оби. Мимо проплывали берега с песчаными застружными косами и крутобокими обрывистыми ярами, по склону поросшими ершистым шиповником, а ближе к воде зарослями ежевичника. Возле кряжистых зеленовато-сероватых ветел, обрушенных в реку, вращались глубокие, темные суводи. Они отливали мрачноватой синью, невольно притягивали взгляд и манили с нездешней силой в таинственные речные глубины.

Мне предстоял неблизкий путь до остановочного пункта «Татарчонок», что находился в девяноста километрах от Барнаула и в пяти — от села Володарка Усть-Пристанского района.

Там я решил пару недель погостить у тети Маши, сестры моей мамы, которая работала матросом на дебаркадере «Татарчонок» под началом мужа — шкипера Константина Гавриловича. Это был ее второй брак, без регистрации, так называемый гражданский. Те места близ Большой речки и некогда полноводной, лесосплавной реки Камышинки издавна славились отменной рыбалкой и охотой.

Оставив вещи на верхней палубе под присмотром пышнотелой, словоохотливой соседки, притомившей меня разговорами, я прошел на нос теплохода и пристроился в теньке под трапом, где на брашпиль¹, накрытом газетой, лежали краюха серого хлеба, надкушенный плавленый сырок, поблескивал стакан и отливала нездоровой желтизной наполовину початая бутылка дешевой бормотухи. Рядом, по всей видимости недавно, примостился рыжеватый мужичок. Признаться, он мне не мешал, поскольку молча, как и я, вглядывался в речной простор.

За Халтурихинским островом моему взору открылось величавое зрелище: Обь переплывали лось с лосихой. Их могучие тела быстро и грациозно рассекали водную гладь, а ласковые лучи послеобеденного солнца отражались золотистыми бликами на воде и ветвистых рогах лесного великана.

— Смотри, паря, красотища, какая! — воскликнул мужичок. — Плывут и ничего не страшатся...

— А чего им бояться. Они отменные пловцы, — ответил я.

— Не скажи! — встрепенулся, повышая голос, мужичок. — Людей, людей надо стеречься! Люди — они на любую пакость горазды... Былось, двое моих друзей рыбачили на протоке Заломной, и вдруг, о чудо, видят рядом с их лодкой «Казанкой» лось плывет на ту сторону, ну, они того, махом соорудили из капроновой чалки аркан и набросили его на лосиные рога. Лось, значит, поспешил к берегу и быстро, быстро потянул за собой лодку. Тогда они почувствовали, что дело пахнет керосином, завели мотор «Вихрь-20» и включили его на задние обороты, пытаясь остановить лося, но он, того, уже успел коснуться ногами дна, да и ломанулся сквозь молодые заросли тальника. Такая силища! Метров десять он пер за собой лодку. Треск стоял неописуемый. Побл-

¹ Брашпиль — устройство для отдачи и подъема якоря.

ло изрядно «Казанку» о тальник, понаставило вмятин на корпусе и синяков и ссадин мужикам.

— Ну, а лось, что с ним случилось? — спросил я, подыгрывая мужичку, ибо знал о хитроватости рыжих, их зазнайстве и способности прихвастнуть. Впрочем, подобную байку мне уже доводилось слышать.

— Хм! Лось ушел живой и невредимый. Чего ему, громиле, станется!? — промолвил мужичок с неким недоумением.

— Видишь! Ушел-таки лось.

Мужичок молчал, пятерней ероша на хмельной голове завихрушки.

Лесные красавцы, подгоняемые высокой волной, что тянулась за кормой теплохода, подплывали к песчаному берегу.

Я сидел на верхней палубе, а мимо проплывали незнакомые серебристые протоки, выгнутые, как лезвия татарских сабель, и острова, то обильно поросшие буйной растительностью, то песчаные, то коряжистые с завалами сухостоя и, казалось, безжизненные. Много позже описываемого времени, изучая лоцию, я полюбил острова, протоки и перекаты за меткие, звучные, а порой и замысловатые названия, что им дали первопроходцы. В ранней юности мечталось (мечта вызрела в четырнадцать лет, не без влияния Марка Твена, после прочтения его приключений о Томе Сойере и Гекльберри Финне), что было бы славно на гребной лодке или на плоту сплавиться от Бийска до Барнаула, останавливаясь на дневки и ночевки в живописных местах. Жаль, что детскую мечту, как и многое другое, о чем грезилось в те годы, я так и не сумел претворить в жизнь.

В то время я знать не знал и ведать не ведал, что через год глухой октябрьской ночью уйдет из жизни мой любимый писатель, кинорежиссер и актер Василий Макарович Шукшин. А в 1975-м теплоход «ВТ-61», на котором плыву пассажиром, будет носить его славное имя.

Двухпалубный теплоход вышел на прямой и широкий плес. Прямо по курсу, на взгорье, в предзакатных лучах солнца показались далекие строения села Володарка. И теплоход, сбавив обороты, пришвартовался к выкрашенному в зеленый цвет дебаркадеру, незаметному среди густых зарослей тальника и величавых топо-

лей и ветел. На его надстройке черным по белому отливала задирная надпись — «Татарчонок».

Немногочисленные пассажиры, а с ними и я, ступили на палубу.

Встреча

Грузный Константин Гаврилович и худенькая, но крепкая Мария Прокопьевна тепло встретили меня. В мое распоряжение они предоставили уютную каюту в носовой части дебаркадера с видом на реку. Ее скромное убранство составляли: кровать, старая тумбочка, керосиновая лампа да несколько подшивок журналов «Вокруг света» и «Техника молодежи».

Ужинали в небольшой кухне, где стояла металлическая печка, стол, шкаф с посудой, две скамейки, табуретки и прочая кухонная утварь незаменимая в обиходе. Перед ужином я тайком передал тете Маше три бутылки «Московской» водки, выставив на стол лишь одну «Столичную». Выложил гостинцы: банки с тушенкой, сгущенкой, пачки индийского и грузинского чая, пакеты с лавровым листом, черным и красным перцем.

Шкипер расспрашивал меня о городских новостях, а я его — о самых уловистых рыбных местах, об охотничьих угодах и прочих прелестях заречного быта.

На новом месте, несмотря на усталость, я долго не мог уснуть, слышал неумолчный плеск воды за окном каюты, цвирканье сверчков и мышинные шорохи. Дебаркадер — судно, а какая посудина с палубой может существовать без крыс и мышей? Рыжей кошке Мурке и черному с белым бантиком на груди приبلудному коту Тимофею ловить да не переловить эту неистребимую живность.

Поутру мы с Гаврилычем в сопровождении умной и старой-престарой с нитями седины по черной шерсти лайки по кличке Зойка отправились на ближайшее озеро Карасевое. Там у шкипера стояли сети, а в густой осоке была припрятана старенькая самодельная лодка. Сгондობобренная из трех листов кровельной жести, в обиходе она называлась «железянкой».

Ласковое солнце уже подсушило траву, она распрямлялась на глазах, и медовые запахи луговых цветов кружили голову, а разномастные серые, зеленые, желтоватые кузнечики выпрыгивали

из-под ног и сердито стрекотали. Свежий ветерок с реки отгонял назойливых комаров.

Озеро с зеленоватой, а местами коричневатой водой было длиною метров двести с хвостиком, с островком-пигалицей посредине. От него к нашему берегу, к стоянке лодки, тянулись косяком семь сетей. Улов оказался скудным, в трех- и четырехперстовки² воткнулось около двух десятков карасей.

— Вот, мил дружок, тебе первое задание: будешь проверять и переставлять сети, — проговорил шкипер. Его морщинистое лицо тронула улыбка.

— Гаврилыч, ты не стесняйся, загружай посильной работой. Чем могу — тем помогу, — предложил я. — Хотя, признаться, сетями рыбачить не люблю да толком и не умею. Понимаешь, не испытываю азарт, выпутывая из ряжевой ячеи снулую рыбу. Бредень — другое дело. Там, пока его ведешь вдоль берега, работают все мышцы и нервы начинают вибрировать, подобно тугой тетиве невода. Покрикиваешь на нерадивого напарника. Возбуждение так и накатывает, и руки то ли от усталости, то ли от вида добычи, от шустрых щук — а они норовят перепрыгнуть поверх поплавок или улизнуть — начинают подрагивать.

Седой шкипер гмыкнул в густую короткую щетку усов. Вечером за ужином, когда мы приняли с устатку по чарке, Гаврилыч признался, что он, рожденный в безбрежных украинских степях, рыбачить не любит вообще и воспринимает рыбалку как обязанность, без коей заречная жизнь невысказима. Он мог и не пояснять очевидное, от природы наблюдательный, я догадался об этом по плачевному состоянию снастей.

— Гаврилыч, ты мне скажи, почему столь живописное место прозвали Татарчонок?

— Да, татарчонок здесь заблудился и сгинул, — встряла в разговор Мария Прокопьевна. — Все об этом знают.

— Не, японский городской, не все так просто, ежели крепко подумать, — глубокомысленно изрек шкипер. — Весьма загадочны эти места. Сказывают, что в стародавние времена, в те еще, когда здесь проходили казаки Ермака, пропал передовой татарский

² Трех- и четырехперстовки — сети на три или четыре пальца (перста).

отряд. Болотистый был край. С тех пор воды много утекло, болота высохли, но осталось около десятка озер и обмелевшая извилистая протока, она и зовется Татарчонком, сейчас больше напоминает ручей. Частенько гибнут в округе люди, а то и бесследно исчезают. Почитай каждый год и весной, и летом, и осенью, и зимой. Аномальная зона. Не иначе. Я считаю, что в незапамятные времена здесь упал метеорит. Наверняка он еще и по сей день лежит на дне Щучьего озера. Вода в нем темная и густая, как чифирь. В этом озере время замедляет свой ход.

— Ты, старый, брось баять байки. Начитаешься своих журналов. Так бы о хозяйстве помнил, — заворчала тетя Маша. — Зачем племяша пугаешь? Страхи наводишь.

— Да, правду я говорю, два раза был у озера. Там щуки обитают, размером с полугодовалого теленка. А по ночам кто-то сопит и посвистывает, не иначе, как нежить. Знобко становится. Маетно на душе. Оторопь берет. И самое загадочное — близ Щучьего озера стрелки у часов начинают подрагивать и отставать минут на десять. Будто время замедляет свой ход. Понимаете, подобный случай произошел со мной на войне, когда рядом на взлобке упала фашистская граната. Представляете, я вижу, как она катится по желтой глине, подрагивая длинной деревянной ручкой. Ощущаю всей кожей, что до взрыва остаются считанные секунды, а до ближайшей воронки несколько метров. Какая-то неведомая сила оторвала меня от земли и бросила к воронке. Все происходило, как во сне или в замедленном кино. Слава Богу, успел! Во время взрыва унырнул в воронку, словно в омут, вниз головой — и осколок гранаты лишь слегка зацепил голень левой ноги.

— Послушай, Гаврилыч, может, в озере лежит не метеорит, а космический корабль пришельцев, потерпевший аварию, — выдвинул я свою гипотезу. — Покажешь дорогу?

— Все, японский городской, станется и устанется в сих чарующих местах, — заковыристо изрек шкипер. И непонятно было, к чему отнести его слова: то ли к космическому кораблю инопланетян, то ли к дороге до загадочного водоема.

На следующий день ранним утром я сходил на Карасевое озеро и проверил сети. После немудреного завтрака на добротном, но под веслами тяжеловатом ялике, облюбованном мной для рыбал-

ки на якорях, ловил крупных окуней в тенистой заводи. Там, в устье, где светлая вода Татарчонка смешивалась с мутной — обской, плавились многочисленные мули, за ними гонялись радужные горбачи и попадали на крючки моих удочек. Небольшая шлюпка была устойчива и весьма удобна, и я мысленно поблагодарил капитана самоходной нефтеналивной баржи, который в том году подарил суденышко Гаврилычу. Признаться, я отвел душу, выудив на червя и на живца десятка три окуней и несколько красноперых сорожек.

После обеда я планировал пройти вверх по протоке несколько километров, обследовать окрестности Татарчонка, но прилег с журналом на кровати и неожиданно (видно, выходила городская усталость) уснул на пару часов. Разведку пришлось отложить на следующий день.

Змеиная свадьба

Когда сочно-зеленая густая-прегустая трава (у берега Оби — по щиколотку, а глубже в луга — по пояс) стряхнула росу, приподнялась, вытянув мясистые стебли навстречу щедрому солнцу, по едва заметной, а порой исчезающей среди низкорослого усыпанного недозрелыми ягодами шиповника тропинке я отправился вглубь материка. Удалившись от берега километра на полтора, свернул в сторону к протоке Татарчонок и уперся в небольшую согру. На ней росла развесистая черемуха с темно-бордовыми ягодами, лучилась желтыми гроздьями колючая боярка, а островки смородинника кружили голову запахами. Я немного растерялся и потерял ориентацию, подумав, что ушел дальше намеченной цели, но, взобравшись на макушку согры, увидел вдали тальниковые заросли, где петлял Татарчонок.

Я спускался вниз по склону, освещенному полуденным солнцем. Перистые васильки покачивали молодыми лилово-пурпурными цветами, а корзинки золотухи (бессмертника) из лимонно-желтых бутонов тянули кошачьи лапки с черными коготками семянков. Я вошел в редкий и мелкий осинник с густым смородинником, перевитым колким, задиристым ежевичником. Смолкли и остались позади птичьи пересвисты и прочее щебетанье, щелканье и стрекотанье. Волглую тишину нарушали лишь мои шаги по упругому ковру болотного аира, который сменил сухой треску-

чий плавник. Неожиданно открылась продолговатая освещенная солнцем ложбина, лучи, отраженные от плавника, вылизанного водой до белизны, на миг ослепили меня. Я не остановился, чтобы осмотреться, а по инерции ступил вперед — и неожиданно услышал, точнее всем своим существом ощутил, гулкий шорох. На широкой отполированной до блеска колодине, в трех-четырёх шагах от меня, шевелился огромный черный змеиный клубок. Оторопь, словно штормовая речная волна, а за ней и страх заставили замереть на месте. Над извивающимися сильными змеиными телами возвышалась крупная гадюка. Мне показалась, что она лежит чуть в сторонке, а на ее плоской четырехугольной голове посверкивает крошечная золотая корона. По спирали вокруг клубка скользили, словно стражи, две крупные темно-серые гадюки с желтоватыми и слегка красноватыми полосами на спинах. Змеиное месиво приковало меня к месту — ни взгляда оторвать, ни с места сдвинуться.

«Господи, оборони! Змеиная свадьба. Но почему в начале июля? — тотчас вспомнилось, что змеиные свадьбы проходят двенадцатого июня, в день святого Исаакия. — Точно, Гаврилыч, прав — здесь аномальная зона!»

Что греха таить, змей я боялся. В пятилетнем возрасте, отдыхая на Бакенах у деда Прокопа и бабушки Марфы, когда бежал к реке, неожиданно наступил босой ногой на большого ужа, вытянувшегося на влажном песке. Помню, от страха закричал. Порою змеи являлись во сне, от кошмарных видений я вздрагивал и просыпался.

Казалось, а может быть, так происходило на самом деле, что вертикальные зрачки царицы змей смотрят в упор на меня. Инстинктивно рука потянулась к увесистой палке, валявшейся рядом, чтобы метнуть ее в медленно вращающийся змеиный клубок. Но рассудок взял верх над порывом. Зачем?! У них свой путь, своя змеиная судьба, возможно, в колдовских сказках, а у меня другая дорога, иная стезя — и куда она ведет, что ждет впереди, никому неизвестно. Тихонько, не отрывая взгляда от тел, отливающих влажным антрацитом, я стал осторожно отходить, ступая, словно на минном поле или по неокрепшему льду.

Встречу со змеиной свадьбой я расценил как предупреждение, знак свыше и оставил мысль об исследовании извилистой загадочной протоки, дабы не сгинуть, как татарчонок (правда, с улыбкой в душе).

Солнце повернуло на закат, когда я по тропинке вышел к дебаркадеру со стороны кормы. Путь преградил кот Тимофей, он шипел и фыркал, то припадая мордочкой к примятой траве, то, приподнимаясь, выгибал дугой спину, так что ерошилась шерсть на загривке. Поперек тропинки лежал метровый уж, и, казалось, ничуть не боялся кота. Змейка в ответ на его нападки лишь постукивала по земле хвостом да быстро-быстро шелестела раздвоенным язычком. Я окликнул кота. Тимофей скосил глаза в мою сторону, и гроза лягушек, улучив момент, торопко, но с достоинством заскользил с обрывистого берега к реке. Пока я успокаивал кота, поглаживая его по черной шерстке, уж отплыл на несколько метров от берега и исчез в серовато-зеленоватых ветвях обрушенной в реку коряжистой ветлы. «Что за чудеса сегодня, что за странные встречи: змеи, ужи?..» — я поднимался по трапу на дебаркадер под недовольное мяуканье кота, семенившего следом.

Воспоминания

Жизнь на дебаркадере текла своим чередом. Мария Петровна мыла палубу, а Гаврилыч читал журнал, оттопырив забинтованный указательный палец.

— Где поранился, старче? — спросил я. Шкипер засопел в ответ.

— Да ну, племяш, его к чомиру! Кулема он и есть кулема! Ему лишь бы журнальчики почитать. Совсем мужик к хозяйству непригоден, — ворчала Прокопьевна. — Твою жерлицу, что ты на живца с кормы ставил, во время поклевки проверил. И надо же, он вытянул небольшую, но норовистую щуку, с крючка снимать стал, а та его хватанула зубами за палец, так что кровяца потекла.

Я не стал выслушивать дальнейшие сетования Прокопьевны, которые были отнюдь не беспочвенны, а пошел на кухню попить с дороги чайку. Не любил Гаврилыч работать по хозяйству, и рыбалку не очень жаловал, порой приговаривая: «Ружье, сеть да весло — хреновое ремесло». Может, виной тому было постоянное невезение. Накопает, он бывало, с вечера червей, а к утру они непостижимым образом из закрытой банки выползут. Начнет окуней ловить — крючки и блесны на коряжине оставит, леску или обрвет, или запутает. На лодке по озеру пойдет — воды зачерпнет.

Да что там говорить, частенько с Гаврилычем происходили на рыбалке всякие закавыки, и он, уверовав в свою невезучесть, совсем обленился. Моему приезду был рад, переложил на меня все рыбацьи заботы. Я, конечно, подбадривал Гаврилыча, убеждал шкипера, что ему непременно повезет на рыбалке, и он не потерял надежды поквитаться со щучьим семейством.

Мы утро встречаем! —
Руки на вёсла под пение птиц!
Прав ты, что главное в жизни — умение.
Нас не заманишь,
как в сеть карасей!
Чувствуешь силу и счастье в движении?
Что загрустил? Налегай веселей!

Вечером за ужином я рассказал хозяевам о встрече со змеями. Прокопьевна заметила, что я, наверное, ошибся и перепутал ужей с гадюками. Еще она припомнила случай, когда я на бакенах у деда Прокопа и бабы Марфы наступил на огромного ужа и очень сильно испугался.

— Тетя Маша, вы думаете, я не помню ту встречу? Недавно вспоминал. Это была гадюка. Меня от страха даже подбросило в воздух, и, перелетев через нее, я плюхнулся в холодную воду.

— Однако, племянничек, кончай заливать! Чай ты не Гаврилыч! Не было змеи, а был уж, — вздохнув, молвила она.

— Ладно, уж — так уж, замуж, неvertepeж!.. — выпалил я. — А что, тетя Маш, скажешь, не было Глашки, бодливой коровы, что прижала меня рогами к стенке избы? Прижала меж рогов так, что я не мог даже трепыхнуться. Ведь было!?

— Про ужа помню, про корову нет, — потирая лоб, сказала тетя. — А еще я помню, когда мы к отцу плыли на пароходе «Товарищ» у тебя с головы слетела бескозырка и упала в воду. Ну?

— Конечно, помню, налетел ветер и сорвал бескозырку. Я бросился к лееру за ней. Кричал. А здоровый, как сказочный джинн, бородатый матрос ловко поддел ее багром у кормы парохода и вернул бескозырку мне.

— Ударились родственнички в воспоминания! — встрял Гаврилыч, опорожняая третью рюмку горькой. — А я во время войны в бо-

лотах замерзал, вас от фашистской нечисти грудью заслонял. Да, японский городской, и с узкоглазыми повоевать пришлось. В Маньчжурии япошки подранили. Больше месяца по госпиталям мотался.

— Думаешь, в тылу легко было! Я всю войну, да и после, — столько лет уголек-кормилец в грузовом участке Речпорта на ленту транспортера совковой лопатой бросала. И в холод, и в зной... И Вовина мать, Анна, в Речпорту на «Малых реках», что находились при Элеваторе, вкальвала. Но ей было легче, она работала приемосдатчиком, как-никак грамотная! Правда, чуть не погибла. Чуешь, старый! На седьмом месяце беременности была. Оступилась — и бултых в воду! А в животе-то Володька! Еле спасли сестрицу с племянничком. Оттого-то он бедненький такой худой, нервный, иной раз заикается.

Тетя Маша, чуть всплакнув, погладила меня по голове.

И я вспомнил, как мы с двоюродным братом Витей, сыном тети Маши, что был старше меня на три года, приходили на работу к ней. Вспомнил огромные кучи угля, грохочущую ленту транспортера, уходящую к чреву самоходной баржи, тяжелые совковые лопаты и черные от въедливой угольной пыли лица женщин, совсем как у негров из книжек и кинофильмов. Мое детское сердце трепетало от жалости и сострадания.

Кто-то из пассажиров постучал в дверь и прервал разговор.

Удача неудачника

Утром меня разбудили тревожные то длинные, то короткие и прерывистые гудки теплоходов. «С чего бы это?» — подумал я, подходя к окну каюты. Ведь звуковые сигналы вблизи населенных пунктов давно запрещены. За окном было белым-бело. Надев штаны и рубаху, я вышел на палубу дебаркадера. Над рекой и над берегом колыхался густой, косматый туман, лишь изредка в его глубине сквозь разводья проглядывали неясные очертания ближайших деревьев.

— Девять часов, а туман не рассеивается! — недовольно проговорил шкипер. — Теплоходы заякорились и стоят в ожидании... Наш «ВТ» уже на час, как задерживается.

— Да-а! — протянул я, отметив, что в начале июля подобные туманы довольно редки. А этот, словно сплавной сетью, накрыл округу.

К десяти часам туман рассеялся. Теплоход пришвартовался и минут через пять, высадив с десятков пассажиров, отошел.

— Смотри, Костя, полено плывет! — крикнула Мария Прокопьевна с носа дебаркадера. — Бери скорее багор, полешко согдится для печки.

Следует заметить, что бревна, большие и маленькие, частенько проплывали мимо дебаркадера. Течение несло их из Большой речки и Камышинки. Если они проплывали вблизи, то Гаврилыч цеплял их остро отточенным багром и выводил за корму дебаркадера к берегу. Когда их скапливалось штук пять, то бревна выкатывали на берег. В последний раз такую операцию мы проделали со шкипером дня два назад.

Гаврилыч вразвалочку поспешил на нос дебаркадера, споткнулся о трос и чуть не упал. Стал снимать багор со стены и громко вскрикнул, больно прижав укушенный щукой палец. Шкипер заворчал, махая рукой, проклиная чертей и водяных — виновников всех его бед и напастей.

— Володька, иди скорей ко мне! — закричал Гаврилыч. Я удивился, увидев вместо полена большущую щуку. Она лежала на боку, головой против течения. У нее, словно листья на ветру, подрагивали темно-зеленые жабры, плавно вздымалось при дыхании беловатое брюхо и чуть шевелился широкий хвост. Видимо, хищница в тумане, гоня мелкую рыбешку, потеряла осторожность. Она всплыла к поверхности воды, угодила под винты теплохода и была оглушена.

— Врешь, не уйдешь! — воскликнул Гаврилыч, опуская в воду наконечник багра.

— Под жабры имай ее, Костя, под жабры! — советовала тетя Маша, дочь рыбака и бакенщика.

Гаврилыч резко поддел щуку крючком багра под голову и, побагровев от натуги, вытащил из воды.

— Я говорил, японский городской, что мне повезет! Я говорил, что отыграюсь на щучьем семействе за покусанные пальцы! — ворковал довольный Гаврилыч, утирая со лба пот.

Более чем пятикилограммовая речная хищница лежала на палубе.



Шарль Левински

Родился в 1946 году в Цюрихе. Швейцарский писатель, сценарист и драматург. Работал в театре и на телевидении, писал тексты песен, либретто, сценарии, повести и романы. Живет во Франции и в Цюрихе.



Татьяна Набатникова

Родилась на Алтае. Окончила Новосибирский электротехнический институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Писатель и переводчик. Автор книг прозы «Домашнее воспитание», «На золотом крыльце сидели», «Дар Изоры», «Не родись красивой» и др. Живет в Москве.

ВОЛЯ НАРОДА

Отрывок из романа

Перевод с немецкого: Татьяна Набатникова

Курт Вайлеман, журналист пенсионного возраста, получает загадочное послание от одного коллеги, который вскоре после этого погибает. В Вайлемане срабатывает старый инстинкт следователя, и он пускается на поиски правды, но тут начинается охота на него самого.

Шарль Левински разворачивает классическую детективную историю на довольно зловещем фоне: в недалеком будущем, когда в Швейцарии правит национал-популистская партия большинства.

Шарль Левински — известный литературный универсал. Со своим острым пером и даром наблюдательности он виртуозно осваивает самые разные жанры. На сегодняшний день он один из самых читаемых писателей Швейцарии.

В России выходили его романы «Геррон» (М.: Эксмо, 2013), «Андерсен» (СПб.: Алетейя, 2017), ожидается выход романа «Kastelan» в издательстве Corpus (Москва).

Редакция журнала «Алтай» знакомит своих читателей с отрывком из романа, который выйдет в издательстве «Алетейя» в начале будущего года.

Старики — они и есть старики. Ходячие грыжевые бандажки и двуногие медицинские стельки. И сам Вайлеман ничем не лучше, хотя на нем все же не так много ржавчины, как на том старом железе, что было вокруг.

Многие пассажиры автобуса были знакомы между собой — наверное, уже не раз участвовали в таких пенсионерских поездках и громко обменивались через ряды своими воспоминаниями. Один седовласый господин уже трижды ездил к монастырю Мури и всякий раз прогуливал обязательный органный концерт, потому что там поблизости подают такие гигантские меренги и за такую цену, по которой в Цюрихе не получишь и пирожное с кремом.

— Это просто музыка, — сказал он, и поскольку никто не смеялся его шутке, он сделал это сам.

Все билеты на экскурсию были проданы, и не было надежды захватить себе оба места на сиденье, а женщина рядом с ним — дважды вдова, как она сообщила ему сразу же, как только сели, — была болтушкой из тех, кому на похоронах надо отдельно закрывать рот, иначе они и в могиле никому не дадут покоя. На жакете рядом с гербом своего кантона она приколотила гербы своих умерших супругов, и судя по тому, как она сразу к нему придвинулась, она не имела ничего против того, чтобы расширить эту коллекцию трофеев еще на один экземпляр.

Крепость не относилась к самым популярным местам Швейцарии, но ее общепит имел хорошую славу; тот седовласый старик грезил не только меренгами, но и советовал попутчикам сегодня в Бургкеллере непременно заказать жареного цыпленка, дескать,

один этот цыпленок уже стоит поездки. Этот совет хорошо подошел для планов Вайлемана: пока тот цыпленок зажарится до хрустящей корочки, пройдет изрядно времени, а если еще учесть, сколько его понадобится старичкам с их искусственными зубами, чтобы обглодать все до косточки, то времени хватит на то, чтобы незаметно удалиться в Дом Вечерней зари и там подождать Лойхли. И потом сразу вернуться в Бургкеллер, где все остальные еще будут сидеть за своим кофе с двойными сливками. Свой отказ от обеда он сможет обосновать проблемами с пищеварением, в такой компании ему поверит любой: никто из его спутников не выглядел так, будто проводит день без слабительного.

— Вы недослышите? — его соседка толкнула его в бок. — Я уже дважды вас спросила.

— Простите. Я задумался.

— Совсем, как мой второй муж. Он тоже не хотел признаться, что не слышит. А потом все пошло очень быстро. Опухоль мозга. Она давила ему на слуховой нерв. Вы еще не пробовали обследоваться?

— Мне очень жаль, я действительно... О чем вы меня спросили?

— Как вы относитесь к смертной казни. Я-то нахожу, что хорошо было бы снова ее ввести. Тюремь обходятся нам слишком дорого. А если отпускать людей, они будут делать то же самое. Если вы меня спросите: все беды начались с тех пор, как запретили бить детей. Чему не научился Гансик, тому Ганс уже не научится, а затрещина еще никому не повредила.

— У вас есть дети?

— Да при чем здесь это? — обиженно спросила женщина и после этого действительно молчала пару километров.

Их автобус был единственным на парковочной площадке, что мужчина с кулинарными интересами нашел весьма отрядным. Потому что однажды было так — он говорил об этом как об античной трагедии, — что в Бургкеллере оказались съедены все жареные цыплята, и подобное разочарование он не хотел бы пережить еще раз.

Окрыленная перспективой Бургкеллера, экскурсионная группа нигде надолго не задерживалась. Самую интересную часть выставки — пыточное подземелье — можно было посетить только в сопровождении экскурсовода во второй половине дня.

Вайлеман преувеличенно хромал — в надежде, что ему будет извинительно идти помедленнее и незаметно ускользнуть, но его соседка из автобуса уже поджидала его у спуска в Бургкеллер, нет, она не поджидала, а подстерегала его и сказала, что можно продолжить за обедом тот разговор, который так мило начался у них в автобусе. Кстати, заметила она, он забыл приколоть значок своего кантона, мужчины иногда так рассеянны, так из какого же он кантона?

Когда Вайлеман изложил ей свою отговорку для отказа от обеда — «желудок, вы же понимаете», — женщина кивнула так, будто ничего другого и не ожидала от него, и сказала, что у ее первого мужа начиналось так же, язва желудка, и Вайлеману необходимо основательно обследоваться.

— Что же столько лет выплачивать страховые медицинские взносы и так мало после этого болеть?

Судя по всему, она настроилась расширить с его помощью коллекцию своих значков с гербами кантонов, и ему пришлось спастись бегством.

— Но кофе мы потом выпьем вместе, — крикнула она ему вслед. Вайлеман сделал вид, что ничего не услышал.

Когда он потом умывался в туалете холодной водой, в зеркале на его лице не было видно никаких следов пережитого страха. Он глянул на часы и не поверил своим глазам: не прошло и часа, как он ушел отсюда, а ему показалось, что он провел в Доме Черной зари полжизни.

В ресторане все еще сидели за жареным цыпленком, а женщина с двумя покойными мужьями действительно держала для него место подле себя.

— Ну что, прогулка удалась? — спросила она и навязала ему крылышко пулярки и горку салата, отделив от своей порции, принесла для него из буфета тарелку и приборы и даже еще раз встала, потому что забыла взять бумажные салфетки.

После того, что осталось у него позади, будничность ситуации показалась ему жутковатой, каменные колонны, подпираю-

щие многотонные своды, были как тотемные столбы экзотической культуры. К счастью, его соседка и не рассчитывала на его равное участие в разговоре и была полностью удовлетворена, если он в нужном месте ее монолога успевал вставить «интересно!» или «надо же!».

Когда за столом другой экскурсионной группы громко рассмеялись, один из их автобуса не захотел отставать и громко потребовал тишины, чтобы рассказать анекдот. Дело происходит в будущем, когда уже снова ввели смертную казнь. Человек лежит на эшафоте, лезвие гильотины срывается вниз, и казненный с удивлением обнаруживает, что голова осталась на месте. На что палач ехидно замечает: «А вы кивните!» Одна женщина за столом не поняла сути, ей объяснили, после чего она в подтверждение своего чувства юмора смеялась вдвое громче остальных. Под всеобщий галдеж было решено заказать по стаканчику балламу, и соседка Вайлемана шепнула ему, что она вообще не пьет алкоголь. Но не возразила против того, чтобы стаканчик был заказан и для нее, ей не хотелось привлекать к себе недоброжелательное внимание, так она сказала.

— Да, — подтвердил Вайлеман, — я этого тоже не люблю.

Экскурсия в камеру пыток была назначена для их группы на половину третьего, но они уже за четверть часа толпились у двери, угрожающе утыканной железными шипами. «Опасно, кстати, — подумал Вайлеман, — когда в тамбуре такая теснота». Но когда их наконец запустили, он обнаружил, что шипы были вовсе не железные, а резиновые, имитация, как, собственно, и все, что предлагалось патриотическим посетителям этой крепости.

Экскурсию проводил пожилой господин с ухоженной седой бородкой; он представился как учитель истории на пенсии.

— Так что рассматривайте себя как моих учеников, — сказал гид, — я обещаю вам также, что вам не придется после этого сдавать экзамен.

Благодарный смех.

Первым делом им был представлен растяжной станок.

— Кто-нибудь желает добровольно стать опытным образцом? — спросил учитель истории, что вызвало еще больший смех, групповое веселье школьной экскурсии. Гид объяснил функции растяжного станка и предложил группе отгадать — должны же школьники участвовать в уроке, — после скольких поворотов рукояти можно рассчитывать на первые разрывы суставов.

— В наши дни мы, к счастью, больше не зависим от таких приборов, — сказал он, — с хорошим видеонаблюдением преступников можно уличить и без таких грубых вспомогательных средств.

«А может, все-таки и были в Доме Вечерней зари камеры видеонаблюдения?»

— Кто из вас знает, что означает нашпигованный заяц? — Участник экскурсии, который специализировался на кулинарии, сразу же вызвался ответить и поднял руку, как в школе, но тут его знания о меренгах и жареных цыплятах оказались бессильны. Нашпигованным зайцем назывался утыканный шипами валик, который пристраивали к растяжному станку, чтобы катать его по осужденному туда и сюда. — Как яблоко по терке, и приблизительно с тем же эффектом.

Слушатели были зачарованы.

— А потом их раны не посыпали солью? — спросила одна дама добросердечного вида и была разочарована, когда референт сказал «нет», хотя идея, по его мнению, была хорошая — надо ведь хвалить учеников, это повышает их мотивацию, — но ему не приходилось читать о таком методе, возможно, это связано с тем, что соль тогда была очень дорогая.

«Стратеги конфедеративных демократов хорошо угадали с акцией возвращения смертной казни, — подумал Вайлеман, — пытки и казни явно были темой, которая увлекала людей».

Тиски для пальцев были представлены в разных модификациях, но они не вызвали у слушателей большого интереса. Они начали, как скупающие школьники, беседовать между собой, обмениваясь собственным опытом: у кого ступню зажало дверью-вертушкой, у кого руку прищемило крышкой пианино. У железной ротовой груши, при помощи которой можно было распяливать человеку рот до перелома челюсти, они опять стали прислушиваться.

— Радуйтесь, что ваш зубной врач еще не узнал о существовании такого прибора.

А у Иудиной колыбели, которая металлическим острием вонзалась жертве, подвешенной в петле, «сами знаете куда», разразилось прямо-таки ликование. Тем сильнее зрители были разочарованы, когда бородатый учитель истории сказал, что модель построенная по описаниям и нельзя с уверенностью утверждать, применялось ли такое орудие пытки когда-либо в действительности.

Экскурсия еще некоторое время продолжалась, но Вайлеман больше не слушал то, что рассказывал гид. У каждого орудия пытки он стал представлять себя в роли пытаемого, что, разумеется, было полной чепухой, ведь теперь не средневековые, и все равно он не мог избавиться от навязчивых представлений — после того, что пережил. Он всегда плохо переносил боль, Дорис была права, называя его слабаком, потому что из-за пустякового гриппа он сразу ложился в постель умирать. «Мне достаточно было бы показать «испанский сапог», — размышлял он, — и я бы все рассказал, выдумал про себя напраслину, чтобы хоть в чем-то признаться. Да я бы даже не допустил до этого, сбежал бы раньше, скрылся под чужим именем. Раньше, когда еще не было биометрических паспортов и компьютерных программ опознавания, это еще было возможно, но теперь... Мне следовало бы действительно скрыться, — думал он, — где никто не станет меня искать, должно быть какое-то место, откуда я мог бы продолжать расследование, оставаясь вне наблюдения, но такого места нигде нет, уж не в Швейцарии точно и не в XXI веке, теперь перманентно живешь, будто в рентгеновском аппарате, весь прозрачный под колпаком».

Он внезапно ощутил в своей ладони чужую руку; она прокрадлась к нему, как взломщик. Женщина, которая не оставляла его в покое с самого отъезда из Цюриха. Тут она прижалась к нему и тихо сказала:

— Я не могу это вынести. Это так ужасно, вы не находите?

— Да, ужасно.

— Но необходимо, — прошептала женщина. — Я хочу сказать: а как бы иначе они могли изобличить преступников?

«Или ведьм», — подумал Вайлеман, стараясь как можно незаметнее высвободить свою руку.

Экскурсия между тем дошла до «железной девственницы», гвоздя программы, изображенной даже на афише.

— Это настоящий многофункциональный прибор, — поучал гид. — Кто может мне сказать, почему?

Никто не вызвался, и старый учитель прокомментировал это замечанием, которое он наверняка делал уже тысячу раз:

— Не все сразу!

Он объяснил, что самое изысканное в «железной девственнице» то, что эта конструкция может применяться не только для пыток, но и для казни, все зависит только от длины гвоздей или кинжалов, направленных внутрь. Экскурсионная группа сбилась в кучку у раскрытой фигуры, один мужчина с неожиданным для его возраста проворством даже встал на колени на каменные плиты пола и изучал днище пыточной машины.

— Я всю жизнь проработал санитаром и, как специалист, сразу вижу, что здесь чего-то не хватает. Должен быть сток для крови, иначе тут было бы черт знает что.

Другие с ним согласились: да, грязный пол — это не дело. Гид, заметив, что его авторитет пошатнулся, напомнил, что надо торопиться, потому что на очереди уже следующая группа.

Последним пунктом была подземная темница. Кроме железных колец, закрепленных в голой каменной стене, там не было ничего сенсационного, но, когда вдруг погас свет и в темноте из громкоговорителя раздался звон цепей и стоны, воцарилась жуть, как в вагонетке аттракциона ужасов.

— Кто попадал сюда в заточение, — сказал гид, — тот исчезал из мира навеки, и его близкие не знали, жив ли он или уже умер.

Это был тот самый момент, когда Вайлемана осенило.

«Еще пока нет необходимости скрываться, — размышлял он, — но это может быстро измениться, если они все-таки идентифицировали его в этом распроклятом Доме Вечерней зари и узнали, кто охотится на их тайну. В таком случае потребуется убежище, на несколько часов или на несколько дней, такая нора, где можно бесследно укрыться, чтобы — как там сформулировал этот кровавый педагог? — никто даже из близких не знал, живой ты еще или уже мертвый. А что могло быть надежнее, чем квартира

женщины, с которой он только что познакомился, чисто случайно и которую никто не смог бы упомянуть в связи с ним?»

Это была безумная идея, конечно, но ведь и вся ситуация была безумная, к тому же это не то чтобы сразу должно произойти, это был лишь план Б, позиция отступления на крайний случай, ведь выплачиваешь же каждый месяц страховку за несчастный случай, хотя надеешься, что этот несчастный случай с тобой никогда не случится.

Женщина стояла рядом, он ее не видел, но уже знал тот слабый запах чая и пота, который исходил от нее, и он нащупал в темноте и сжал ее руку.

— Вам тоже страшно? — шепотом спросила она.

— Вообще-то очень приятно. Прежде всего потому, что вы рядом со мной.

Тут раздался резкий крик боли, от которого все содрогнулись, но он исходил не от нее, а из громкоговорителя, последний звуковой эффект перед тем, как свет снова зажегся.

— На этом наш урок окончен, — сказал гид, и несколько человек захлопали в ладоши. — А кто хочет еще углубить свои знания, может приобрести мою брошюру «Средневековые методы казни и пыток». Всего пять франков, с иллюстрациями. Благодарю за внимание.

— Можно, я подарю вам такую брошюру? — спросил Вайлеман свою соседку.

Она приняла это предложение, так застенчиво кивнув головой, будто речь шла о букете алых роз.



Фарида Габдраупова

Родилась и живет в Барнауле, окончила филологический факультет АлтГУ. Председатель Алтайского представительства Союза российских писателей. Автор пяти поэтических сборников. Работает учителем русского языка и литературы и педагогом дополнительного образования в гимназии.

Свет

Рванный альбом, как время, назад листаю.
Слабо сияет прошлого тусклый след.
Что утонуло, а что на плаву осталось,
Откуда тьма и откуда явился свет?

Стыдно писать: обычное самое детство.
Наголо брили меня, обзывали лысой башкой.
Печку топили зимой, чтобы сварить и согреться,
И за водой далеко ходили пешком.

А за дорогой, где я не была ни разу,
Чудился замок, в котором принцесса жила.
(Там оказалась типичная маслосырбаза.
Я заходила туда по каким-то делам.)

Кажется, в детстве было сплошное лето.
Кошки облезлые бегают во дворе.
Помню, как папка котят утопил в туалете,
Я их достала и мыла в помойном ведре.

А в это ведро я выливала водку —
Детский протест во имя родного отца...
Всё понапрасну... Вот я, чёрная, сбоку,
А это — мама-вдова, от слёз не видно лица.

Свет изнутри, природа его неизвестна.
Свет впереди — из тьмы и проблесков детства.

Картаней (Бабушка)

Домик холодный, сохнут растения,
Ветер во все щели.
Стол деревянный, брусчатые стены —
Всё в этом доме священо.
Дом этот очень похож на бабуся,
Старенькую картаней.
Я не могу без смущенья и грусти
Даже подумать о ней.
Вечно в работе, вечно в движенье
Сердце, как старая печка.
Длинная жизнь с народным сюжетом —
Плодоносящая вечность.
Хлеб ароматный на доли разрежем,
Вспомним фамилию, имя и отчество.
Знаю, простишь ты и внучку заезжую
За непростительное одиночество.
Хочешь — надену татарское платье,
Выброшу курево, джинсы, рубаху...
Бабушка, милая, что же ты плачешь? —
Лучше молись за меня Аллаху!

Я люблю этот шум последнего зимнего ветра,
Он из глубы небес вырывает младенца-весну.
Пусть она пролетит в темноте заплутавшей кометой
И успеет в глаза возвышающим светом блеснуть.

Я глотну этот всполох и вновь зашагаю в осень
По обугленным листьям и непроходимым снегам,
Разгребая дорогу нездешней мечтою, как тростью,
Этот свет сохраню и обратно небу отдам.

Птицу в руках держала —
Спелую, белую!
Знала,
Ей в небе дом, и надо бы отпустить.
Милость — не видеть со стороны,
Что же я делаю.
Густо растут на берегу кусты.

Чувство моё! Улетай,
Но оставь хоть следышек,
Чтобы дышать,
Чтобы было с чем дальше жить.
Счастливы парящий,
Ползучих смертей не ведающий.
В юных высотах ему навсегда кружить!

Ночной ветер

Шумят, шевелятся, колеблют небо
Шелковые деревьев шлейфы.
Шуба, широко распахнутая,
Насквозь прошитая мягким шилом
Ночного ветра.

В окне зашторенном
Шумит невидимо
Иль шепчет что-либо...
Ночная муха
В душах шарится,
Едва касается
Ночного слуха

Вот-вот коснётся,
И всё поймётся.

Пенициллином и манной кашкой,
Скомканным носовым платочком —
Ребёночек пахнет ночной рубашкой,
Мокрой яблонькой в белых цветочках.

В больнице не было одеяла,
В мае уже не топили трубы,
И я ребёночка согревала
Махровым халатом и тёплой грудью.

За окнами бился и злился ливень,
Стёкла зубами стучали громко,
И не было никого счастливей
Меня и моего ребёнка.

Весна

Солнце жадно пьёт из лужи —
За зиму оголодало,
Языком шершавым сушит
Снег прогорклый и проталый.

Новые ресницы клеит
Веткам, плачущим от счастья.
Оживают и полнеют
Рек затёкшие запястья.

Провалились улиц щёки,
Солнце сытое окрепло
И весь день сметает щёткой
Снега грязные отрепья.

Ты спишь, моя радость,
В подушку уткнувши нос.
Тебе посылаю
Я стаю
Смешных стрекоз.
Пускай летают
И крыльями пошебуршат,
Стрекочут, лопочут,
Касаются и смешат...
В загадочных сферах
Их водянистых глаз
Немыслимо вверх
Увидишь открытый лаз.
Там в мягких берёзах
Округлый есть водоём.
Мы тоже стрекозы —
И солнечно нам вдвоём!

Если б знать, где ты ходишь большими ногами,
Оставляя следы белых ботинок,
Я дрожала б, как двоечник, сдающий экзамен,
Я бы спряталась в куст, в листву, в паутину.

Я сидела б на корточках, как заправский воришка,
Я бы слёзы фуражечкой вытирала,
Воровала б твоё отражение с риском,
Что опять мне окажется этого мало.

(Я увиделась с ним, он прочёл мне нотации:
«Вы смутили меня своей экзальтацией.
У вас что-то не так по части морали,
Вы меня аморальностью замарали».)

Юрий Татаренко

Родился в Новосибирске в 1973 году.
 Поэт, автор шести книг стихов.
 Работает журналистом. Публиковался
 в литературных журналах
 «Литературная учеба», «Арион»,
 «Сибирские огни», «День и ночь»,
 «Алтай», «Байкал», «Огни Кузбасса»
 и др. Победитель Международного
 фестиваля поэзии (Симферополь,
 2012), открытых поэтических турниров
 в Новосибирске, Томске, Красноярске.
 Член Союза писателей России. Живет
 в Новосибирске.



44+

Ранен март: водой — по нержавеющей,
 Солнце в небе — рыбой без хвоста...
 Я сегодня — резко и навеки —
 Распрощался с возрастом Христа.

Угловато и не наглогато
 Выглядит четвёртый палиндром.
 В жизни всё случается когда-то —
 И пустеет наш аэродром.

Мы взлетаем в прозу ежедневно,
 Снегу и дождю наперекор.
 Розыгрышем кажутся Женева,
 Рио-де-Жанейро и Мисхор.

В пелене ответов и вопросов,
 В сумраке журналов и газет
 Обнаружить лишнее непросто
 С высоты одиннадцати лет...

21 марта

Карте

Остывшая яичница с беконом.
Пожар в отдельно взятой голове.
Свиданье — нарушение закона
О пятничном просмотре Матч ТВ.

Весенняя вечерняя кофейня —
Как летняя кибитка молдаван...
И папе Карло было всё до фени,
Когда он над поленом колдовал!

Объятия — кража личного пространства,
Убийство страха вымолвить не то...
Какое, право, сладостное рабство
Раскованно подать тебе пальто!

В рай прокуроров, судей, адвокатов
Не попадут Мальвина и Пьеро...
Поэты ездят на обнимокатах.
Поэты игнорируют метро.

Юрга — Тайга

Когда любимая уснёт,
Верну стакан проводнику,
А тот вдруг, подмигнув, плеснёт
Из плоской фляжки коньяку.
Едва любимая уснёт,
Рассвет забрезжит за окном,
И затерявшийся блокнот
Подсунет мне купейный гном...

Когда любимая уснёт,
Закутавшись в казенный плед, —
Торговка шали понесет,
И я куплю у ней конфет.

Едва любимая уснёт,
За стенкой пьяный замычит —
И поезд резко сбавит ход,
А сердце громче застучит.

На веранде

Рукомойник. Две щётки в стакане.
День недели незнамо какой.
Истекает гроза пустяками...
Разговор. Не короткий. Мужской.

Всё проходит... А всё ли, дружище?
Дождь не кончился — лёг отдохнуть.
Многоточия — тыщи и тыщи —
Верят в слово «когда-то-нибудь»...

Верить на слово — слезоопасно,
Каждый раз убеждаемся в том.
И в пластмассовом тюбике паста
Задрожит... Но об этом потом.

Июнь

Ошалели бабочки
От жары:
Не в цветы пикируют —
На вихры.
Ах ты, перелётная
Седина —
Наливному облачку
Ты нужна.
Одичала травушка
Без причин.
Нам не переменных бы
Величин —
Бесконечно летнего

Вдоль реки,
Где нахальной бабочек —
Мотыльки.

Месяц в деревьях

Нету молочка —
Потерпи, котейка!
Вместо пяточка —
Ржавая копейка.
Выпадет из рук
Пиво марки «Колос» —
И замкнется круг,
Усечётся конус.
Шут, колпак надень,
На дебют пускайся!
Выбираю день —
А не деньги, каюсь.
Сгорбилась луна
И как будто сдулась.
В рюмочке окна —
Суть, а не сутулость.
Никого не жаль!
Гимн, набитый хренью,
Хочется ужать
До стихотворенья.
Раненым в живот
Хочется морошки.
Братцы, ёшкин кот —
Мать, а не матрёшки!
Просят кипятку
Яркие картинки.
Петь, а не Петкун.
Жить, а не Житинкин.
Грешен? Не дури,
Не меняй конфессий!
Янь — не янтари.

Инь — не интерфейсы.
Я сошёл с ума,
Заявляю прямо!
Зимь, а не зима.
Обь, а не Обама.

Прогулка по Морскому проспекту

Законы жизни — это бред,
Причём — нецелесообразный.
Я не люблю зелёный свет —
Тем более, когда он красный...

Из рукава торчит кулак
С горбушкой заплесневелой.
Меня печалит красный флаг,
Особенно, когда он белый...

Передвигается с трудом
Пенсионер с пустой кошёлкой.
Я ненавижу Белый дом,
Особенно, когда он жёлтый...

Афиши станиславов пьех —
То ж наши скрепы, ёлы-палы!
Я не люблю большой успех,
Особенно, когда он малый...

Сладки амбиции на вкус,
Они гораздо слаще мести!
Я напрягаюсь, видя груз.
Особенно, когда он — 200.

Страна, где всё наоборот,
Давно ли ты Россией стала?
Не веселюсь на Новый год,
Особенно, когда он Старый...

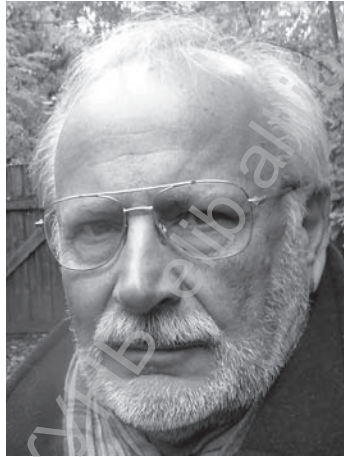
Читатель мой, не обессудь:
Монетка — в море, жребий брошен!
Не воспую великий путь.
Тем более, когда он — в прошлом.

Белая сирень

Разыгралась весна не на шутку —
До метели, бурана, пурги...
Миллионный летит парашютик —
К милой вдовушке на пироги!
Так на поиски мест для ночлега
Устремляется в небо снаряд.
На уборку весеннего снега
Добровольцев отправлен отряд...
На расстрелянном юго-востоке
Забинтует проулки сирень.
Это розыгрыш. Майский. Жестокий.
И трясется от смеха плетень.

Владимир Куницын

Родился в 1948 году в Тамбове. Окончил философский факультет МГУ. Автор множества статей, рецензий и книг. Работал на «Мосфильме», во ВНИИ теории и истории кино, в журналах «ЛитУчеба» и «Советская литература», обозревателем «ЛГ». Вел авторские передачи в эфире радио «Маяк». С 1998 по 2014 год работал на Центральном телевидении. Член Союза писателей России.



ЛЮБОФФФЬ...

Егору Кузьмичу вторую ночь подряд снилась молодая женщина. Одна и та же, что само по себе было неожиданно. И к тому же совершенно обнаженная. Голая.

Сон этот, разбитый на две ночи, но с одной героиней, смахивал, как показалось Егору Кузьмичу, на начало интригующего телевизионного сериала.

Хотя сюжет сам по себе был незатейлив. И даже — в какой-то момент Егор Кузьмич это явственно почувствовал — зависел от настроения спящего Егора Кузьмича, от его сиюминутного каприза. Например, вчера, в самом начале сна, когда героиня только появилась из клубов туманного подсознания, он сразу же понял, что хотел бы видеть ее не жгучей брюнеткой, каковой она явилась, а темно-русой. К тому же прямо тут же, при первой встрече, Егор Кузьмич скорректировал фигуру незнакомки, мысленно пожелав прибавить ей бедер и еще более утончить талию.

Голая женщина, теперь уже с темно-русой гривой волос, побежала от Егора Кузьмича по вечернему полю, оглядываясь на него и дразня своим прелестным смехом. Он видел, как высо-

ко вскидывает она над травой свои белые, по-женски округлые колени, как свободно играет на бегу ее прекрасное, именно то самое тело, о каком Егор Кузьмич всю жизнь мечтал, — что бы ему встретилось, ему принадлежало, — но никогда так и не имел. Он бежал, иногда догонял ее, касался то руки, то бедра, но схватить целиком не мог. Так они добежали до реки, вбежали оба в реку и Егор Кузьмич настиг Голую и упали они вместе, подняв стены брызг и смеясь от радости!

В этот самый момент Егор Кузьмич ощутил, как по-молодому окреп. И как дух его ликует былой отвагой и нежностью!

«Вот почему я стал полковником!» — как будто бы из другого сна пришла мысль и, как заблудившаяся льдина, ткнулась в лоб Егора Кузьмича. Чужая, потому что полковником он никогда не был.

Дальше началась фантасмагория. Голая опять побежала через поле, а Егор Кузьмич, оставаясь в своем молодецком возбуждении прежним пожилым мужчиной, в то же время вдруг обрел зрение и ловкость бабочки. Он порхал над плечом Голы и видел, как прямо внизу, под ним веселятся на бегу ее круглые груди, краем глаза отмечал и пылание ее щеки. А уже через секунду Егор Кузьмич вился у ее ног и видел все: как золотыми искрами вспыхивают ее икры, как попеременно и слаженно, словно паровозные маховики, двигаются ее полусферы. А то вдруг улетал вперед и, с восторгом замерев на секунду в пространстве, запоминал ее молодой и мощный бег прямо на него, осознавая, что она совсем не видит в нем бабочку, а видит его, Егора Кузьмича, и это ей интересно и приятно.

И все-таки «романтический период» стремился к завершению. Егор Кузьмич внезапно ощутил его почти физиологическую тяготность. Его воображение мгновенно нарисовало дом, к которому, как теперь стало ясно, и направлялась все это время Голая женщина. Она вбежала в его деревянные двери, он следом. Она петляла по едва мерцающим коридорам, забегала в одни двери, другие. Он настигал ее неотвратно, почти яростно. И вот она спиной упала на кровать, вся раскрывшись, а Егор Кузьмич, уже падая туда, к ней, в ее мягкую теплоту, — проснулся, весь зайдясь от досады...

Вторая ночь и вторая «серия» начались сразу же с того места, как они вбежали из поля в деревянный дом. Егор Кузьмич жаждал продолжения и, только лишь увидя Голую, все ту же темно-русую, манящую, поддразнивающую его своими размятыми губами, тотчас вновь ощутил, как будто в его тело вернулась юная память.

Он бежал, расшвыривая двери, на ее ускользящую белизну и, когда она вдруг упала на спину, раскинувшись, как разласканная кошка, Егор Кузьмич упал следом, ища на лице ее распаренные внутренним жаром губы...

Сон его, как и вчера, разрушила Галина Семёновна, жена. И вновь, будто ревнуя, угадала самый его острый момент.

Егор Кузьмич, все еще пребывая в остаточных туманах сна, следил, как жена Галина закрепляет заколкой волосы, стоя у зеркала.

«Сюрприз!» — сообщил Егор Кузьмич и откинул одеяло. Жена бросила слегка прищуренный взгляд туда, куда взглядом же указывал Егор Кузьмич. Секунду поразмыслив, подняла большой палец.

Он засмеялся. Смех перешел в кашель. «Бросай курить», — сказала Галина Семёновна с давней озабоченностью и вышла.

Егор Кузьмич с усмешкой вспомнил, как вчера вот так же, внезапно разбуженный на самом интересном месте, с вызовом откинул одеяло. Галина аж присела, прикрыв ладошкой рот. А над ладошкой смеялись смущенные, помолодевшие глаза!

«А сегодня только палец подняла!» — отметил Егор Кузьмич.

— Вот брошу тебя, к молодой уйду! — прокричал за дверь.

— Это не к той ли, за которой по ночам бегаешь?!

— Ну откуда ж ты все только знаешь? — изумился не без удовольствия Егор Кузьмич.

— Никуда ты не уйдешь! — с веселой твердостью заявила Галина Семёновна из-за двери.

— Это почему?

Дверь приоткрылась на щелочку и голос Галины Семёновны в эту щелочку ласково прошептал: «Любоффф...»

«Любоффф...» — передразнил Егор Кузьмич благосклонно и забросил руки за голову. Посмотрел в потолок долго, задумчиво, как за горизонт. И мысленно сказал этому многому повидавшему потолку, как себе: «То-то и оно, брат».

РУКА КАРЛА МАРКСА

В доме родителей на Песчаной прямо над нами жил бывший директор Института марксизма-ленинизма Г. Д. Обичкин. У руля он простоял девять лет — принял опасный штурвал за год до кончины Сталина, в 1952-м, а расцепил ухват на бурном подъеме хрущевской оттепели — в 1961 году. Сия боевая идеологическая цитадель советского марксизма-ленинизма долгие годы находилась в самом центре столицы, за конной статуей основателя Москвы Юрия Долгорукова, и получалось, что великий князь с тыла был прикрыт «марксизмом», а прямо перед ним и его конем красовалось похожее на кумач здание Моссовета. В этом противоречивом идеологическом триптихе только ресторан «Арагви» по левую руку от основателя, смягчал историческое напряжение.

Надо отметить, что здание Института было сооружено в стиле модного в 20 годах конструктивизма, а спроектировал его архитектор Сергей Егорович Чернышев (ученик академика Императорской Академии художеств Л. Н. Бенуа). Между прочим, тот самый Чернышев, который в 1949 году будет удостоен Сталинской премии 1-й степени за проект главного корпуса МГУ на Ленинских горах. Так горячо любимого мною и, не сомневаюсь, — большинством «агрессивно-поислушных» граждан СССР и просто России.

Какая прихотливая, все же, перекличка! Академик Бенуа — Институт марксизма-ленинизма — Юрий Долгорукий — Сталинская премия — Арагви — МГУ — Обичкин...

Иногда я сталкивался с Обичкиным в подъезде. Он, пенсионер со стажем, непременно был в тройке даже в жару, всегда при галстук в горошек, точь-в-точь, как на знаменитом портрете В. И. Ленина, висевшем во всех кабинетах Советского Союза. Обичкин и ростом был, как Ленин, около метра пятидесяти, с ленинской же бородкой и усами. Только значительно старше Ленина, совсем седенький. Геннадия Дмитриевичу в те 70 годы было под восемьдесят, но производил он живое впечатление — уютно опрятный, доброжелательный господин в маленьких черных ботиночках.

А внуки Обичкина истязали моего отца. Внуков было двое, оба страдали каким-то врожденным дефектом ног, потому носили жесткую обувь, на крепкой, как у чечеточников, подошве. И беспрерывно бегали по всем комнатам, рассыпая над нашими головами звонкую рок-н-рольную дробь. А отец, когда работал за письменным столом, совершенно не выносил постороннего — даже малейшего — шума! «Беда» была еще в том, что работал отец дома целыми днями, с перерывами разве что на лекции и еду. И — шахматы.

— Они бегают по моей голове! — воздев руки к потолку, бушевал папа, вырываясь, как лев, из кабинета. — Эти маленькие садисты не дают мне работать! Аня, — кричал он, — купи этим палачам тапочки! — Мама смеялась, чем заводила отца еще пуще. Но в очередной раз напоминала, почему внуки Обичкина не снимают дома ботинок. Отец с усилием остывал и говорил: «Надо подарить Обичкину ковер!» Мама опять смеялась, а отец закрывался в кабинете и затыкал бесполезными «берушами» уши. Хитрых затычек — всех видов — нанесли ему из аптеки мешок.

Между прочим, «мешающий шум» был настолько серьезной проблемой, что отцу однажды удалось изменить маршруты захода самолетов на посадку во Внуково. Летом самолеты садились и взлетали с интервалом в несколько минут — почти над крышей дачи, сотрясая чудовищным ревом округу. Приходилось даже кричать собеседнику в ухо, иначе он не слышал ни бельмеса. И отец убедил соответствующие власти отклонить траекторию от писательского поселка. Ненадолго. Пока была еще жива советская власть, считавшаяся с «капризами» фронтовиков, инвалидов войны и творческих работников.

Однажды Обичкины затопили нас еще и водой. Отрядили оценить масштабы бедствия меня. Так впервые я оказался в квартире бывшего директора Института марксизма-ленинизма, историка коммунистической партии Обичкина Г. Д. Хозяин встретил в отглаженной шелковой пижаме, чем-то отдаленно напоминающей его знаменитую костюмную тройку. Может быть, по-ленински сунутыми в подмышку руками. Когда мы вместе обнаружили, что вода действительно переливается через ванну и вот-вот преодолеет барьер под дверью, он по-стариковски запаниковал. Пани-

ка его выражалась в учащенном топтании на месте, будто он хотел убежать от свалившихся неприятностей, но бежать было некуда. Я вызвал маму и мы в пять минут устранили «потоп».

Повеселевший Обичкин меня не отпустил, провел в кабинет, стал расспрашивать «о жизни молодежи» в моем лице. На тумбочке у его кровати, как перед решающим сражением, столпилась батарея маленьких пузырьков и склянок, источавших сильный, какой-то совокупный аптечный дух. Тогда подумалось об увиденном количестве — «чересчур!» Теперь бы уже — нет.

Но главное впечатление пришло не сразу — я пробежался взглядом по огромной библиотеке Обичкина и испытал неосознанный дискомфорт. Что-то с ней было не так! Что же именно? Приглядевшись, я понял, в чем дело — все корешки библиотеки были однотонными, а окраса — строго темно-коричневого, темно-зеленого, бордового и красного. А еще темно-синего. Таким колором в СССР издавали Ленина, Маркса-Энгельса, Сталина, Плеханова и вообще всю политическую литературу. Несколько тысяч книг, и поголовно — политические! С редкими «диссидентскими» вкраплениями художественной литературы в лице Максима Горького и Шолохова...

Меня это так обескуражило, что я с искренним сочувствием посмотрел на старого марксиста Обичкина. Он мой потеплевший взгляд истолковал по-своему и с внезапным возбуждением стал рассказывать, как ездил в Париж — выкупать для «своего» института неизвестные до сих пор письма Маркса. Оказалось, дорогими политическими раритетами умело торговали внуки автора «Капитала», и Обичкин вел с ними длительную предварительную переписку, цель которой была в том, чтобы сбить цену. Геннадий Дмитриевич с детскими слезами радости поведал, что ему удалось сэкономить государственные деньги советского народа, поскольку стоимость раритетов он «удачненько понизил»!

Прощаясь в дверях, явно тронутый вежливым вниманием, Обичкин открыл и совсем уж «интимную» тайну: «А вы знаете, этой вот самой рукой я пожимал руку внука Карла Маркса!» Он вытянул старенькую детскую ладошку, чтобы я мог ее повнимательнее рассмотреть в качестве наглядного доказательства, а поскольку рука продолжала висеть в воздухе, я догадался,

что Обичкин не против, если я пожму ее и тем самым приобщусь к Великому событию, случившемуся в Париже с ним самим!

Я осторожно пожал выставленную ладонь, и Обичкин придержал мою руку, словно передавая невидимую эстафету от руки внука самого Карла Маркса!

Выйдя за дверь, я спустился к подъездному окну и посмотрел на свою ладонь с невольным любопытством...

У моего отца в библиотеке было море художественной литературы, и многие из мировых классиков стояли со своими полными собраниями сочинений, плотно прижавшись друг к другу могучими бумажными плечами. Но был у папы и еще один — особенный книжный шкафчик! Лет в пятнадцать мне посчастливилось обнаружить в нем существование второго, «тылового» ряда, где папа конспиративно хранил библиотечку «служебных» изданий. Как работник ЦК КПСС, папа получал их в начале 60-х в порядке рабочего ознакомления. Это были белые книжечки в мягкой обложке, с тонкой бордовой окантовочкой. Они и познакомили меня нелегально с романом «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя, а затем с «Реализмом без берегов» ревизиониста, как тогда считали, Роже Гароди, сборником статей «путаника» Сартра, пьесами Камю, «Процессом» Кафки, его рассказами, включая «Превращение», да и вообще со всем, что папа прятал на этой полке от посторонних глаз! Неизданная в СССР литература, доступная лишь диссидентам и партаппаратчикам, братьям, так сказать — по конфликтующему разуму, неожиданно стала и моим достоянием. И, конечно, как-то повлияла на мое преждевременное мозговое развитие. Хотя это не факт, скорее робкое предположение...

Подумать только — огромная библиотека, тысячи книг, а — почитать нормальному человеку нечего!

Я понял, что Геннадий Дмитриевич умер, увидев однажды за лифтом аккуратно составленные в штабеля книги — рыжую стопку полного собрания сочинений Иосифа Сталина (на глаз — почти двадцать томов). Шоколадно-коричневые, одинаковые по толщине совместные тома Маркса и Энгельса, темно-синие стопки Ленина (на глаз — более сорока томов), темно-зеленое собрание сочинений Плеханова, самое скромное в количественном выражении...

Было ясно, что все эти монолитно-унылые стопки были подготовлены к эвакуации в ближайший мусорный бак внуками ученого. К этой исторически осознанной процедуре они успели возмужать, стали крепкими молодыми людьми с сильными ногами. Благодаря жестким ботиночкам, так мучившим моего отца, они все же избавились от детского недомогания.

А через полгода, вынося в пакете мусор, я обнаружил и второй библиотечный транш — разрозненные тома политической литературы: красные, зеленые, желтые, серые... Это была почти, можно сказать, публичная, окончательная смерть библиотеки Обичкина. Вспомнилось, как он передавал мне ладошкой эстафету от Маркса. Подумалось, что, наверное, передавал ее и своим внукам — как что-то важное, дорогое. И странное дело, но именно в тот момент я и пожалел его по-настоящему, до сердечного спазма...

ЗВОНОК ИЗ ЛУВРА

Ночью разбудил внезапный звонок: «Художник Глухов Владимир Иванович? Э? Вас беспокоит парижский музей Лувр. Хотелось бы приобрести все работы Вашего нового цикла по миллиону евро за единицу, а также предоставить Вам в бессрочное пользование мастерскую на Монмартре и личное авто с водителем! Э? Вы согласны на наши условия? Э?»

В моей голове разорвалась бутылка шампанского! От того, что Лувр ошибся абонентским номером, от того, что я вдруг стал понимать по-французски, и от дикого огорчения, что я не Глухов!

— Вы набрали неправильный номер, — прошептал я на идеальном парижском диалекте, словно футбольный мяч, по которому нанес чудовищной силы удар великий Лионель Месси, и вот из мяча выходит его душа — воздух...

На том конце провода раздались непочтительно торопливые гудки: «ту-ту-ту-ту-ту...»

Тут же позвонил мой приятель, художник Глухов.

— Тебе звонили из Лувра? — по-прокурорски спросил он.

— Да, — признался я как «человек честный».

— Что ты сказал им?

— Ошибка номера, э...

— Дурак! Дурак! Дурак! — как попугай, но фальцетом закричал Глухов и бросил трубку.

Тут сдали нервы и у меня. Я размахнулся и очень ловко запустил телефоном в узкую щель балконной двери! Телефон угодил прямо в дупло старого тополя и оттуда послышалась моя любимая битловская композиция. Я использовал ее в качестве вызывающего звонка. Вокруг возликовали птички, они слетелись к интересному дуплу и дружно заоплодировали Битлам крылышками, а под деревом остановился утренний мальчик и поднял голову к дуплу в умилении. Короче — Дисней!..

Ровно в семь часов утра и тридцать четыре минуты по московскому времени раздался звонок. Телефон оказался на тумбочке, я посмотрел, какой добрый человек будит меня в такую рань, и понял, что это реально Глухов — прямо из Тюмени.

— Jamais! — вскричал я мысленно на идеальном французском, насильственно выходя из сетевой коммуникации и попутно меняя бок. А продолжил, засыпая, на родном, почти вточь, как Вертинский: «...Он говорит «жамэ». Он все твердит — «жамэ, жамэ, жамэ, жамэ». И плачет по-французски...»

БАЛЬЗАК ОТДЫХАЕТ

Младший за лето прочитал «Капитанскую дочку», пушкинские «пугачевские хроники», а также «Пушкин и Пугачёв» М. Цветаевой, «Пугачёва» С. Есенина, Сэлинджера «Над пропастью во ржи», Стендаля, Диккенса, Бальзака, засел за «Обыкновенную историю» Гончарова... Что-то еще прочел, не упомяну. Гончарова — громадный «сталинский» том избранного, 1948 года, странного мышиноного цвета, весом с полпуда — притаранил ему на «дальнюю дачу» я. Все знают эти великановы тома, еще с 37 года, когда А. С. Пушкина к его юбилею выложили народу первым на могучую читательскую ладонь.

— Как Бальзак? — спрашиваю про Бальзака, поскольку мой скорочтец именно его одолевал дольше других.

— Скучота! Описаний слишком много! Как начнет описывать какую-нибудь хрень, и вот нудит страниц тридцать об одном... Ты лучше пишишь!

Наступает пауза. Я успеваю полуобморочно закатыть глаза, схватиться за сердце, крикнуть его матери: «Валидол в доме есть?!»

— Что случилось?! — тревожатся из дома. А потом на крыльце и жена, и старший, Георгий.

— Говорит, я лучше пишу, чем Бальзак!

На крыльце с облегчением и закипающим весельем переглядываются.

— Ну, ты живее пишешь, интереснее... — гнет Лёня свою кочергу.

И вдруг я понимаю, что он наконец-то соскучился по мне за лето, поскольку не виделись мы давно.

Похоже, об этой мотивировке догадались и те, что на крыльце. И наступило некоторое всеобщее ошеломление, потому что Лёня уже года полтора, с тех самых пор, как начал у него грубеть голос и пробиваться ус под носом, вошел в «жесткую», как боевое пике истребителя, оппозицию. Вот просто оппозицию, которую ни объехать, ни перепрыгнуть никак — хоть тресни ты, несчастный любящий отец! Ощетинился молодой, и все. Как средневековая какая-нибудь крепость. Все ни так, ни эдак, никак! Вымахать успел за то время, пока я страдал, почти на голову мать перерос, в восьмой класс первого сентября пойдет. И вот нате вам! Перемены!

— Лыстить научился! — одобрительно киваю я на младшего. — Признак ума, между прочим! Главное, не переборщить! С Бальзаком ты, сынок, слегка переборщил. Но это не грех — я же отец твой. Кому еще и лыстить-то беззастенчиво, как не отцу рОдному? А, товарищи? — обвел я собравшуюся аудиторию посчастливившим взором.

На крыльце зашептались-захихикали и скрылись в дверях, не прощаясь.

— Ну чё, а Сэлинджер-то прокатил? Я его лет в пятнадцать пообожать успел.

— Сэлинджер прокатил! — охотно согласился Леонид. Я незаметненько приобнял его за плечо, о чем давно мечтать забыл, и мы пошли к дому.

— Лён, а тебе правда нравится, как я пишу?

— Да нравится, пап. Нет, ну Бальзак тоже, конечно, ничего...

Мы вошли вместе, предварительно я спрятал глаза от своих домашних ехидн...

МИШКА, МИШКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА

Брата Михаила не взяли в подводный флот, хотя весь районный призыв брали именно туда. Военком посмотрел на Мишу раз, посмотрел еще и сказал со смешанным чувством восхищения и досады: «Куда ж ты вымахал, бэ? Ты ж ни в одну лодку не влезешь!»

И отправил Мишу, в порядке исключения, не туда, где «сидели под водой» два года, а туда, где служили целых три года, но над водой! А нечего выпендриваться со своим нестандартом под два метра! Миша к восемнадцати даже папу перерос. А папа был, как любили говорить его друзья маленького роста, ну такие, хотя бы, как знаменитый кинорежиссер Марк Семёнович Донской, — сибирским богатырем! Так папу любили величать. И вдруг появляется Миша, еще больше, чем папа. Это уже совсем какой-то нонсенс, вызов неподготовленному мировому сообществу!

Я-то давно подметил, что Миша гораздо крупнее своих сверстников. Гораздо! На одной примечательной фотографии из пионерского лагеря, где брат Миша стоит рядом со своим сверстником, мальчиком лет десяти-одиннадцати, — Миша похож на папу этого мальчика. Одна Мишина нога, например, выглядит как-то убедительнее, чем весь чужой мальчик. Картина! Мы все до сих пор смеемся, натываясь на эту старую фотографию! А Миша, кстати, обижается, как и в детстве. На наш глупый смех.

Помнится, привезли нам в новую московскую квартиру мебель. Бригадир грузчиков, огромный мужик, все посматривал внимательно на Михаила, как тот пыхтит, помогая; а потом деловито, ну просто, как цыган лошадь, пощупал Мишины руки, ноги, помял плечи, и с великой убежденностью изрек: «Тебе, парень, надо борьбой заняться. Чемпионом мира будешь!» Сам он оказался

бывшим борцом, два раза становился призером Москвы в тяжелом весе по «вольной», но — когда щелкнул пальцем по горлу, мы сразу поняли, почему он теперь грузчик.

Миша лет в четырнадцать и, правда, записался в секцию самбо. К этому времени я уже несколько лет «бил по почкам» старому мешку с песком. Мешок фригидно, но мастеровито уклонялся влево-вправо, избегая бесконечно опостылевших ему молодых боксеров, с их озабоченно-страстными наскоками.

Регулярное это «избиение» происходило по какой-то прихотливой фантазии судьбы — в спортивном зале ЦСКА на Комсомольском проспекте, в двух шагах от Союза писателей России, до которого дела мне тогда никакого не было и в помине. А между тем, как я узнал позже, бокс нравился самому Александру Сергеевичу Пушкину, который не ленился самостоятельно изучать «английскую забаву» по французским книжкам!

И вот однажды как-то поехали мы с братом Михаилом в Серебряный Бор кататься на лодке, загорать и плескаться в пресных водах. Мне уже стукнуло двадцать, а Мише пятнадцать. Я был — придется гордо повториться — достаточно сильным вьюношей, с детских лет лыжи, легкая атлетика, слалом, велосипед. Регулярно и в охотку поднимал утюги, потом гантели, а позже, в ранней юности, зашалил и с разборной штангой на двадцать кг, ну и, наконец, любимый бокс... И потому, валяясь на речном песке, стал я подначивать одного со мной роста Мишу на «померяться силой». Пока Миша отнекивался, я деловито взял его в захват и начал заваливать на левую лопатку.

Миша спокойно стерпел этот маневр и даже позволил сесть на себя верхом, что меня несколько обеспокоило. Как, наверное, Наполеона — горящая Москва, когда он рассматривал ее с Воробьевых гор в 1812 году. Я на всякий случай спросил: «Ну что, сдаешься?» На что Миша миролюбиво сказал: «А мы что, боремся?» Я ухватил его за шею и принялся неторопливо «душить», чтобы понял он, наконец, кто в доме хозяин. Мише это не понравилось, но стерпел он и сей маневр. Слегка подушив его, я опять уселся на его широкой груди, со словами: «Что, чувачок, сдался?» — и пару раз для убедительности подпрыгнул, как верхом на лошади.

И почему-то вот именно это Мише не понравилось. Сначала он подозрительно глубоко задышал, помидорно побагровел лицом, а потом я явственно ощутил, что подо мной пробуждается Везувий. Или даже точнее — паровоз! Вот сдвинулись его могучие штифты, приводя в движение колеса, вот ожили шатуны и рычаги, пыхнул паром огромный, быстро раскаляющийся котел и... я почувствовал, как вдруг едва заметное Мишино движение заблокировало свободу моей правой опорной ноги, а затем уже и одна из моих рук, не желая того, куда-то опасно потянулась Мишей, и я сообразил, что вот, через секунд пять, потеряю равновесие, и он не просто свалит меня с себя, а уже сам сядет сверху.

Я напрягся изо всех своих спортивно-физкультурных сил, «прощально» сдавил его, как смог, и вырвался из чугунных объятий со словами: «Ладно, живи!» Миша какое-то время подышал бурно вздымающейся грудью, перекрывая ею горизонт, и успокоился. И, если честно, меня уже даже не задело, что он так легко пропустил мимо ушей мою «великодушную» финальную фразу...

Но особо крепко запомнилось, как отдавали мы Михаила в армию, уже на сборном пункте. Сам момент его отлипания от нас, семьи. Подошли автобусы с приглашающе раскрытыми дверьми, мальчишки полезли внутрь. Миша еще стоял с нами, самый из всех большой, теплый, домашний наш ребенок, но только с государственно обритутой головой. И вот он в дверях, двери со скрежетом сдвигаются, я вижу через окно растерянное, по-телячьи тычущееся в стекло детское лицо, прощальный взмах руки!

А через полгода отец читал в большой комнате очередное письмо от Миши из Североморска. Специально всех собрал, чтобы и мы разделили с ним нечаянные слезы его веселья. Он размазывал их по щекам, выходя с конвертом из кабинета.

В этом письме Миша сообщал, что занял второе место на чемпионате Военно-Морского Флота СССР — по боксу! В супертяжелом весе.

— Почему по боксу-то?! — пораженный вскричал я. Папа, успевший насладиться письмом, пояснил — потому что Мишин командир был уверен, что если салага занимался самбо, значит, и бокс постигнет! В процессе самой драки, так сказать. К тому же выставить боксера в таком весе от Северного флота — на знаме-

нитом флагмане «Мурманск» — было некого. Кроме нашего «молочного домашнего телка», правда, уже прошедшего учебку в ледяном Северодвинске, получившего первую лычку на погон, а также бесценный опыт приобщения к коллективному разуму могучего военного организма!

Об этой, самой грандиозной спортивной победе в жизни Михаила (сегодня это медицинский факт), увы, поведать особо нечего. Миша добросовестно поднимался на ринг, терпеливо ожидал противника, противник не выходил, ему автоматом засчитывали победу. Все! Так воздушно и чудесно шло дело до финала.

Как писал Миша, он уже начал надеяться, что никто не выйдет и на его последний, «триумфальный бой». Но вышел боксер-первоурядник, такой же большой, сурово нахмуренный бугай. И брата Мишу обморозило — роковой час пробил, сейчас гарантированно и бесславно рухнет он на ринг, хорошо, если не в глубоком нокауте!

Спасла смекалка: Миша быстро вошел в клинч и успел шепнуть суровому на ухо, что это его первый бой в жизни, «давай, мол, повозимся чуток, ты победишь, а я не опозорюсь»... Мужик понял, и Миша даже ни разу не упал. Вот на какие чудеса способен человеческий разум в минуту грубой опасности!

В итоге отслужил Миша все три года доблестно. Иначе и не скажешь. Вернулся старшиной первой статьи, что для срочника — потолок возможной карьеры. К тому же совершил два дальних похода по семи морям и двум океанам, швартовался на африканском континенте, а также у берегов Дубровника и Сирии, год простоял в ремонтных доках Севастополя и тем самым побратался с Черноморским флотом.

Рассказал как-то и про севастопольские ночные шуточки над ушедшими в увольнение: шарили корабельным прожектором по сопкам вокруг бухты и, когда поднимали товарищей с местных девчонок, дружно вопили от подлого счастья!

А кораблик-то между тем достался брату Мише легендарный — не только потому, что славной, но еще и трудной, даже трагической судьбы, о которой из уважения к нему стоит поведать. Уж больно судьба его смахивает на судьбу человечью.

Заложили крейсер еще при Сталине, а сошел на воду он — в 1955 году — при «царе» Никите. Хрущёв не полюбил корабль

сразу. За то, что не реактивный и не атомный. Почему он не попал в число порезанных Хрущёвым более 240 кораблей ВМФ СССР, тем паче, что генсек о своем намерении в отношении «Мурманска» высказывался, — история умалчивает. Может, отвлекся на кукурузу за Полярным кругом или на «п...сов» абстракционистов. Черт его знает! Но корабль уцелел, хотя и сократили его штатную команду с 1270 человек до 495, и поставили на годы в консервацию... Короче, на смену шустрому, как веник, Хрущёву явился спокойный и вальяжный Брежнев. При нем крейсер очухался, ожил, быстро набрал популярность и даже стал флагманом Северного флота, наилучшим образом проявив себя при стрельбах по радиолокационному наведению, что тогда было внове, а на крейсере как раз и стояло новейшее радиолокационное оборудование. К тому же этот двухсотсестиметровый корабль с двигателем в 110 тысяч лошадиных силшек развивал скорость более 60 км в час, а это не плохо даже сейчас.

Брат Миша как раз и был на этом крейсере в начале 70 годов радиометристом, командиром наводчиков главного калибра — в три 152-миллиметровых ствола на башню. И если уж быть до конца честным, то своей безукоризненно точной стрельбой по условным мишеням — существенный вклад в боевую репутацию крейсера, занимавшего в эти годы неизменно первые места по всему ВМФ в стрельбах, Миша своей тяжелой рукой внес.

Так-то вот обстоят дела в глубокой исторической ретроспективе советской мирной боевой славы, дорогие товарищи! И это не шуточка — быть лучшим наводчиком на лучшем корабле ВМФ СССР, а именно такое звание заслужил крейсер «Мурманск» к концу 80-х.

Но... пришел к власти новый «царь», Горбачёв, и вскоре «лучший крейсер ВМФ СССР» сначала переформатировали в корабль управления, а через год — списали в утиль.

Под руководством Горбачёва страна в одностороннем порядке пошла на разоружение. До сих пор Запад не очухался от геополитического шока. Да оно и понятно — не было в мировой истории аналогов подобному: то ли предательству, то ли идиотизму!

Но и это не все. Уже в 1992 году, при Ельцине, вспомнили, что где-то в заливе Кольского полуострова все еще ржавеет «сла-

ва Северного флота», никому теперь не нужный крейсер «Мурманск». И окончательно «исключили» его из состава, «расформировав».

А в 1994 году — «лучший крейсер» продали Индии как металлолом. Его посадили на стальной ошейник, как обреченную собаку, поволокли буксирами к чужим океанам и берегам.

И вот тут оказалось, что душа крейсера еще жива! Проходя по водам Ледовитого океана, предчувствуя встречу с Атлантикой, он, столько раз бороздивший эти два родных ему океана, — рвет «ошейник» и выбрасывается на скалы острова Серейя, упав на песчаное дно норвежского фьорда, место своего последнего пристанища. Словно окончательно соединив в своей судьбе два океана, но и сам себе выбрав «могилу».

Еще целых девять лет он пролежал на правом боку, днем рассматривая туристов и зевак, специально едущих к нему — поглазеть на русского богатыря. А ночами сам смотрел в северное небо, мысленно прокладывая пути среди звезд. Пока не растащили его стальное тело до последней заклепки.

Такая вот судьба приключилась у корабля, на котором три года отслужил моряк Миша, мой брат. Большой и сильный, но не сказать, что очень везучий. Случилось и с ним то, что, по моим наблюдениям, оставило неизгладимый след.

Однажды пришлось Мише забраться на достаточно высокую радиолокационную башню крейсера с технической инспекцией, и в это самое время какой-то идиот внизу врубил станцию на полную — и попал Миша под колоссальный волновой удар! Последствия этой контузии я почувствовал после его возвращения домой, еще ничего не зная.

Не мог я понять, смириться не мог с тем, что вот ушел он из дома три года назад добрейший, ласковый, простодушный человек, а вернулся задумчивый, беспричинно темнеющий парень, способный час просидеть с опущенной головой, словно в великой и дремотной озадаченности.

Что он мог получить от крейсера в тот роковой момент, когда враз и дыбом встал каждый волос на его теле и затрещал вокруг возмущенный воздух?!

Не знаю, не знаю...

Но посуровел наш добряк, это бесспорно. И еще обнаружилась новая новость: когда в застолье начинались разговоры на «высокие» темы, Миша водил, водил взглядом по «умникам», подозрительно мрачнел, поднимал рюмку, и, останавливая повелительным жестом очередного оратора, с очевидным мужским сарказмом говорил: «А не поднять ли нам бокалы за дам, которые своим пышным букетом украш-шают этот стол?» Вставал во весь свой «военно-морской» рост и внимательнейшим образом наблюдал за тем, как поднимаются над столом «умники»... Если за столом оказывался при этом папа, папа ухмылялся, с интересом наблюдая за Мишей своим синим из-под брови глазом, и хмыкал, загадочно оценивая ситуацию.

Слава богу, контузия не помешала брату Мише окончить экономический факультет МГУ, поработать в Институте международной экономики, в экономической редакции АПН, пока... перестройка не выбросила Мишу, как многих из нас, на паперть «свободного рынка», но это уже другая, отдельная и, разумеется, драматическая история, которую не оторвешь от мировой, во всей красе ее масштаба.

Вернемся к доблести. Вот что получается в сумме усилий одной лишь нашей семьи — отца, братьев и мамы. Отец окончил школу в июне 1941-го, в Великую Отечественную ранен четырежды, два раза — тяжело. Прошел Сталинград, Курскую дугу, командовал батальоном саперов, капитан. Тут, как говорится, вопросов нет. Боевые ордена не врут. К папиным ранам прибавилась Мишина контузия, а про достижения его я не все, но сказал.

Младший Иван — добровольно ушел со второго курса журфака МГУ в десантные войска, служил в лучшей разведроте СССР, под началом легендарного десантника-разведчика, боевого офицера Леонида Васильевича Хабарова. Как и Михаил, собрал все высшие знаки отличия для солдата-срочника. И позже добровольцем отслужил военным переводчиком в Анголе два года, ранен в бою, контужен, переболел африканской лихорадкой и там же подцепил гепатит, который позднее убьет его в мирное время, в возрасте 59 лет, переродившись в неизлечимый цирроз.

Остается сказать о матушке. В пять лет окажется в ссылке на Бодайбинских приисках, вместе с матерью, старшим братом

и четырьмя сестрами. Как дочь врага народа. Однако выживет, станет учительницей русского и литературы, встретит отца, родит ему трех сыновей. Безропотно сдюжит с отцом все годы его политической опалы при Брежневе, поднимет нас, потом потеряет отца, младшего сына. И, перевалив за девяностолетний рубеж, будет без ошибок читать наизусть Лермонтова и Пушкина на наших с ней неторопливых дачных прогулках. Доблесть?

И все же, когда сегодня смотрю я на своего седого брата Михаила, вспоминаю не о доблести его воинской. Я вспоминаю, как зимними вечерами забирал его из детского садика и вез через тамбовские сугробы на санках, время от времени оглядываясь на краснощекого пузана, беспокоясь — как он там, не замерз? А он всякий раз отзывался в ответ приветливой улыбкой. Вспоминаю, как в трескучий мороз спровоцировал его лизнуть чугунную ограду нашего палисадника, и он, простодушный, лизнул. И как забудешь горячее свое раскаяние в тот момент, когда Мишу всем двором пытались отлепить от чугуна, но все же кусочек его языка так и остался на ограде, когда Мишу «оторвали»? Не забыть такого. Не забыть.

Ведь простодушие и доверчивость сохранил он и в 90 годы, вынужденно занимаясь бизнесом. А когда заработал деньги, практически все раздал в долг бывшим друзьям. Как он мог подумать, что они ничего не вернут назад? Ну вот как? Ведь сам он всегда возвращал и даже представить не мог, как возможно нарушить слово, данное другу! Этому же учила с детства мама!

Боюсь, он один из нас троих твердо следовал маминим урокам. Да и сейчас такой же, хоть бит-перебит предательствами и вероломством.

Бог ты мой, что мы вспоминаем, прожив жизнь! Наш младший брат Ванечка, отчаянно махнувший через десантуру и войну, на полном серьезе, с детской обидой припоминал еще совсем недавно нам с Михаилом, как мы мучили его, хватая за кончик носа, и обвинял, что нос у него с малолетства приобрел чуждую каплевидную форму!

А Миша до сих пор вспоминает, как в детстве, впервые оказавшись в Сочи, не доел шашлык — очень-очень вкусный, сочный, первый в жизни шашлык. Каждый раз, когда Миша начинает опи-

сывать этот свой недоеденный шашлык, его сочные, с хрустящей корочкой сиротливо оставшиеся три кусочка, дразняще пахнущие костерком, сахарно-белые олимпийские колечки репчатого лука, ломтики пурпурного помидора, с зеленоватыми в мякоти зернышками, и ... невероятно вкусный томатный соус на ободке тарелки, — у всех начинают течь слюнки, и народ оглядывается на маму, с горячим сочувствием к Мишиной трагедии. Из-за отъезжающего автобуса мама подарила Мише трепетное воспоминание о первом шашлыке — на всю жизнь!

Неужели вся доблесть моей собственной жизни только в том, что я помню об этих мгновениях и процарапываю их на бумаге? Про то, как в сорок лет взял за чем-то «Маленького принца» Экзюпери, чтобы перечитать его в Гульрипши, на пустынном сером берегу, а дочитав, разрыдался и упал лицом в море? Про то, как вез на санках добрейшего маленького толстяка? И он успевал улыбнуться, будто знал, что я сейчас оглянусь на него? Неужели это все? Вся доблесть? Все мое оправдание?

Эх, Мишка-братишка! Где же твоя улыбка? Где ямочки на щеках, бедный мой дорогой брат?..

ЧУЖОЙ СОН

Приснился сон. Чужой. Иногда сны блуждают по ночам в ноосферных слоях — наподобие облаков — и ошибаются головами. Но я записал его, этого чужака...

...В капитанскую рубку как будто стучались молотком. Звук был жестким и звонким — это пули крупнокалиберного пулемета ударились и рикошетили в стороны, зло натываясь на уже ненужные препятствия.

Я порадовался, что всего за пять дней до этой погони успел превратить рубку в бронированную капсулу.

Там, где брони не было, пули прошивали металлическую обшивку бортов и вязли в древесине. Похоже на то, как пуля из охотничьего карабина входит в тело баобаба, — чмокая его.

В рубке было семь мужчин и женщина. Все сидели на металлическом полу. Женщина — жена посла, молодая, русоволосая, смо-

трела, не отрываясь, в одну точку твердым взглядом. Руки ее обхватывали голые высокие колени, как двух беззащитных детей.

Я был почти уверен, что катер, который уже минут пятнадцать шел в опасной близости от нас по правому борту, не выдержит гонки. «Полный», — тихо скомандовал я помощнику.

Наступал момент истины. Сила моторов решала наши судьбы.

Обе лодки летели над желтым морем, будто не касаясь воды. Розоватый туман стелился с изысканной деликатностью, пряча взбитую винтами волну.

Сзади прозвучала очередь, за ней другая. Лишь две-три пули чиркнули теперь по рубке, но с явным разочарованием. Чужой начал отставать от нас и сбавлять темп гонки. Желтая вода, розоватый туман, неуместно яркая голубизна бортов преследовавшего нас судна — все это неожиданно вызвало во мне ассоциацию с картинами французских художников-маринистов, охотно торгующих своими, похожими друг на друга, полотнами в Марселе и даже в более разборчивой Ницце.

Я вышел на левый борт. Щелкнул зажигалкой. Море впереди было совершенно пустынно. Берег угадывался, но не спешил напращиваться в очевидцы.

Ярко представились голые колени чужой женщины. Все время погони посол ни разу не взглянул на нее, раскачиваясь в углу с закрытыми глазами.

Но какое все это имело значение теперь?

Ветер вырвал из пальцев сигарету и, играя искрами, сам швырнул ее за борт, в живую дымку тумана, туда, у самой воды. Я помедлил секунду и вернулся в рубку...

КУСТУРИЦА

Потрясающее явление — Эмир Кустурица! Совершенно уникальное и, что особенно дорого, — дающее надежду! Сам факт его присутствия в мировом искусстве — чудо! Такое впечатление, что Бог помогает ему. Об этом и его редкая творческая судьба, и твердая последовательность духовного движения (он принимает православие не мальчиком, но опаленным му-

жем, осознающим корни своего сербского рода). Об этом говорят и сами его фильмы. Каждый раз изумляет, насколько гармонизирован в любом кадре созданный им хаос невероятной жизненной энергии! Вот и в новой картине «По млечному пути», где полно всякой живности, кажется, идеально «работают» на идею и собаки, и куры, утки, свиньи, птахи и ослы, словно отлично чувствуют кадр и замысел режиссера! Разве возможно такое без помощи свыше? Конечно, Кустурица — чистый гений в его почти античном, всеохватном воплощении. Ему подвластно слово, но и музыка, режиссура, но и актерство, публицистика и любое искусство. И при том он простодушен, как дитя, искушен, как мудрец, мужествен, как воин, и стоек, как истинно верующий. На мой взгляд, он воплощает в кино сложнейший синтез Феллини и Бергмана, Формана и Скорсезе, сплав импровизации, живой спонтанности с тщательно продуманной, выверенной философией и мировоззрением.

Кустурица — кинематографический антипод Квентина Тарантино. Будто специально возникший из недр славянского мира художник, присягающий свету на глазах у всего мира с детской радостью и облегчением. Ярко оттеняющий болезненность и агрессивность духовного недомогания. Показывающий без всякой полемики, а самим фактом своего существования — можно жить на свету и быть счастливым. Свет не ослепляет, а обозначает тени, придавая миру объем, которого у тьмы нет изначально.

Я покорен его «Млечным путем», обезоружен, потому что его онтологическая, глубинная, «древнегреческая» искренность и прямодушие влетают не в мозг, а в сердце. И потому герой фильма, трясущийся на библейском осле между миром и войной, вариант современного «человека дождя», человека-дитя, оказавшегося на границе жизни и смерти, — это глобальная метафора нашего земного бытия, которая перехватывает горло прямой сопричастностью и сиюминутностью трагедии, «проговоренной» глазами «юродивого», сербского «князя Мышкина», вечного, как Вечный жид — Идиота, вся сила и надежда которого в Боге. И в родной земле.

Фигура Кустурицы в современном мировом кинематографе выглядит экзотично и загадочно. Как умудрился он сохраниться настолько национальным, особенным и — внутренне свободным?

И при этом снискать известность и славу? Анфан террибль европейской культуры 21 века, любимчик молодых интеллектуалов шести континентов, верный сын своего гордого сердца и народа, баловень, шалун, единственный в мире мужчина, которому удалось сделать невероятное — его, сербского парнишку из Сараево, по балканским холмам отчизны несет на своей прекрасной спине в придуманном им кинематографическом пространстве — сама Моника Беллуччи, красавица всех времен и народов, мечта мужской половины человечества. Это ли не пик мирового признания и торжество субъективного мужества?!

Только Кустурица оказался способным на подобную изысканную «дерзость»! Слава Эмиру, доказавшему, что чудеса возможны и сегодня, в наше больное и опасное время! В эпоху всеобщего оподления верхов и низов. Он, далеко не самый привлекательный из мужчин на свете, показал всему роду людей, что талант, труд, гений — способны посадить тебя на спину лучшей из живущих на планете женщин!

За этот удивительный кинофакт — в моих глазах Эмир Кустурица отныне особенный человек навеки.

Но есть и серьезный символизм в том, что Бог вывел к людям этого гениального, светлого, пылающего любовью и творчеством художника — из Сараево. Здесь возгорелся когда-то бикфордов шнур от всех великих трагедий двадцатого века. И вот пришел теперь Эмир Кустурица, бесподобный вестник милости и мира...

НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ

Когда родился брат Миша, я не сразу сообразил, что перестал быть главным.

В день, когда его, еще безымянного, привезли из роддома, положили на диван и все, включая соседей, столпились вокруг, — я, прижавшись к стене, одиноко смотрел на пританцовывающие у дивана ноги и пытался осознать — а кто теперь я?! И ждал, ждал, когда же обернется мама?..

Через три года появился еще один младший брат, Иван. И я вновь стал главным, но как старший. Не как единственный...



Любовь Новгородцева

Родилась в 1984 году в селе Евгашине Большереченского района Омской области. Работает библиотекарем. Стихи и проза публиковались в альманахах «Москва Поэтическая», «Таряне» (Тара), журналах «Литературный Омск», «Детские сказки» (Минск). Лауреат регионального литературного фестиваля «Макаровские чтения» (Большеречье). Участник

Регионального совещания сибирских авторов (Новосибирск, 2016), Семинара молодых литераторов в Омске (2016).

СВОЯ КОЛЕЯ

Лариса не пошла на встречу с одноклассниками. Девчонки приходили, уговаривали. Взывали к ее совести: дескать, они приехали из-за тридевять земель, а она здесь живет и прийти не может. Требовали причин.

Причин было несколько, но Лариса сослалась только на одну: не хочет проблем с мужем. Несмотря на то, что никогда не давала повода, он страшно ревновал ее. В каждом мужчине видел потенциального соперника. Наверное, это происходило из-за комплекса неполноценности. Понимал, что он далеко не идеальный, есть мужики намного лучше. Трезвый ревновал молча, но стоило ему выпить рюмку, что он делал частенько, а ей прийти с работы минут на пятнадцать позже, — «выступления» не миновать.

— Чё, нашлюхалась? — встречал, скорчив гримасу презрения на лице. Дальнейшее зависело от степени его опьянения. Мог поворчать немного и успокоиться, а мог и разбить какую-нибудь по-

судину, смахнуть с плиты кастрюлю и даже ее, Ларису, толкнуть или ударить. Поэтому провоцировать его лишний раз ей не хотелось. Да еще и Алёнка, дочка, приехала на каникулы, окончив первый курс медицинского колледжа. Зачем ей смотреть на это? В детстве насмотрелась.

Второй причиной была банальная нехватка денег. С пустыми руками ведь не пойдешь. И придется нужно. Последний год, как дочка учиться пошла, Лариса себя почти не помнила, даже в зеркало, кажется, не смотрелась. Все лето в лесу провела, ягоды собирала. Где продаст, где варенье сварит. Осенью нанималась к бабушкам картошку копать. Работала она техничкой в магазине, зарплату ей платили смехотворную, на такую зарплату студентку не вытянешь. Хорошо еще, машинка швейная была. Кому ушить, кому подшить — много с людей не брала, но все равно копейка. На мужа надежды никакой. Он работал у частного, дрова готовил. Получку по частям выклянчивал у хозяина, то на сигареты, то на выпивку, так что, когда приходило время расчета, получать ему было уже нечего. Единственное — дрова под зарплату привозил. Хоть о дровах у Ларисы голова не болела.

Третья причина — нечего о себе рассказать. Одни на моря ездят отдыхать, у других собственный бизнес, у третьих — работа приличная. Даже стыдно было Ларисе за свою неказистую жизнь. Не пошла. Так спокойнее и на душе, и дома.

На следующий день девчонки (условно, конечно, девчонки — двадцать лет, как школу окончили) принесли ей письмо. Запечатанное, в конверте без марки, без адреса. Только получатель указан аккуратным, знакомым до щекотки в животе почерком: «Лукьяновой Ларисе Михайловне». И пометка: «Лично в руки». Лукьянова — это ее девичья фамилия.

Лариса удивилась, уставилась вопросительно на своих одноклассниц. Они напомнили, как незадолго до выпускного учительница, Мария Сергеевна, предложила классу написать письма самим себе в будущее, все эти годы хранила их и вот, вчера, принесла.

Почему-то Лариса ничего об этом не помнила, и даже не представляла, что могла тогда сама себе написать. Но на всякий случай решила не показывать письмо ни мужу, ни дочери, вдруг в нем окажется какой-нибудь компромат. Она спрятала его в шкафчи-

ке на кухне в стопке кулинарных журналов, которые выписывала в первый год замужества и которыми не пользовалась, но зачем-то хранила до сих пор.

Весь день она думала о письме и ждала момента, когда останется наедине с собой, но наступил такой момент только поздно вечером, когда муж и дочка уснули. Одна с наушниками в ушах, другой с пультом от телевизора в руке.

Лариса положила перед собой на стол всю стопку журналов, чтобы в случае чего можно было сделать вид, что ее заинтересовали рецепты. Сердце тряслось от волнения и непонятного страха быть застуканной, как будто это было письмо не от самой себя, а от любовника. Осторожно, стараясь шуршать как можно тише, она вскрыла конверт и развернула тетрадный, в клеточку, листок. Левый край листка был аккуратно обрезан, а сам текст письма заключен в симпатичную рамочку из листиков и цветочков. Лариса вспомнила, что очень любила рисовать такие рамочки — все ее школьные тетрадки были украшены подобными «художествами», — и растроганно улыбнулась.

«Ну привет, Лариса Михайловна! — начиналось письмо. — Ты меня, наверное, уже и не помнишь...»

Лариса попыталась представить себя семнадцатилетнюю, но в памяти проявилось почему-то не лицо, а только волосы, золотистые, густые, длинные, до поясницы. К волосам она относилась с особым вниманием, каждое утро вставляла пораньше, чтобы успеть соорудить интересную прическу или сделать завивку на старые мамины термобигуди. И не лень же было! Сейчас она стала к волосам значительно равнодушной. После родов они поредели, повылезли, как у полинявшей кошки. Она обрезала их до плеч, чтобы не мешались, и каждое утро собирала в хвостик какой-нибудь Алёнкиной резиночкой.

«Подумать только, тебе уже почти сорок лет и тебя называют по имени-отчеству! Если все сложится так, как я мечтаю, то у тебя сейчас свое ателье и фирменный магазин одежды. Ты шьешь женские платья и костюмы...»

Да, когда-то она мечтала стать модельером. Ох уж эта наивная, глупая юность! Хотя в некотором роде она им стала: Алёнкиным куклам довелось пощеголять в сшитых ею нарядах.

«Ты счастливо вышла замуж. (Пожалуйста, как человека тебя прошу, найди нормального, а?) Муж помогает тебе вести бизнес, у вас двое детей, мальчик и девочка. Они, кстати, сейчас уже подростки. Передавай им привет...»

Лариса мысленно ответила на это, что не двое — одна, а ведь могло быть двое, если бы не выкидыш через два года после дочери. Игорь тогда устроил ей яростную сцену ревности, пнул в живот, а когда она упала на кровать, накинулся с перекошенным лицом и стал трясти за плечи, хотел вытрясти признание, от кого залетела. На следующий день она попала в больницу. Выписавшись, ушла к матери и подала на развод. Он приходил, просил прощения, обещал, что такого больше не повторится, и мама подтолкнула ее обратно: «Прости его, вы же семья. Поначалу в семейной жизни всегда так. У нас с отцом тоже всякое было, пока не наладилось».

«Живете вы, разумеется, в городе. У вас большая квартира, и маму ты забрала из деревни к себе. Каждое лето вы ездите куда-нибудь отдохнуть. Не забудь съездить в Австралию! Если забыла, то я тебе напоминаю: это моя мечта.

Вот таким я вижу свое будущее — твое настоящее. Я верю, что у нас все получилось, как надо. Я верю в тебя! А если во что-то веришь, значит, так оно и будет!»

Лариса медленно сложила письмо обратно в конверт и почувствовала, как к горлу подкатывает что-то похожее на тошноту. Оно разбухает, растет, упрямо ползет вверх... Ей показалось, что она сейчас задохнется в этой кухне, в этом доме, в этом настоящем.

Воздуха! Срочно глотнуть воздуха!

Она торопливо вышла на улицу.

Над крыльцом невозмутимо чернела прохладная безлунная тишина. Звезды, высыпавшие на еженощную службу, лениво перемигивались друг с другом. В соседском огороде насвистывала мелодию собственного сочинения какая-то птица. Никому и ничему не было до Ларисы дела. Она села на ступеньку, и душившая ее тошнота вдруг прорвалась наружу рыданиями, раздражающими горло. Ей хотелось завывать в голос, по-волчьи протяжно и безнадежно, и она зажала рот рукой, чтобы никто не услышал. Из-под ладони вырывалось только тонкое поскуливание. Слезы текли по рукам и капали с локтей. Если бы ее в этот момент увидел

посторонний человек, то подумал бы, что у нее кто-то умер. Впрочем, так и было. Та девочка, которая написала письмо, жизнерадостная, полная светлых надежд и верящая в счастье... она умерла.

Кто виноват в этом? Что виновато? Сама Лариса или сложившиеся обстоятельства? Если человек волен выбирать себе дорогу, то зачем жизнь раз за разом подкидывает ему препятствия, как будто нарочно заставляет свернуть? А если выбор дороги — это всего лишь иллюзия? Если судьба предначертана человеку заранее? Может быть, где-то там, наверху, на каждого новорожденного заводится документ, в котором все сказано. В ее документе значится: «техничка». Мечтай — не мечтай, ты техничка. Твое место в подсобке магазина. Только интересно, по какому принципу раздаются эти места? Наугад? Быть может, перед рождением душа заходит в кабинет, где происходит раздача судеб для земной жизни, и кто-то очень важный, подозвав ее к столу, на котором лежит ворох карточек, велит:

— Вытягивайте.

Душа тянет карточку наугад, а этот важный спрашивает:

— Ну что там у вас? — и записывает в свидетельство, ставит печать. — Все, идите. Благополучного рождения.

Лариса просидела на крыльце около часа. Сначала у нее закончились слезы, потом мысли о несправедливости мира, а потом она обнаружила, что очень замерзла. И согреться ей было негде, кроме как на диване, под боком у давно уже спящего мужа.

Она поднялась, пошатываясь от тяжести, будто за спиной у нее висел неподъемный рюкзак, вернулась в дом, прибрала брошенные на столе журналы, выключила телевизор и осторожно пристроила под одеяло, в тепло, свое покрывшееся гусиной кожей тело.

Проснувшись она все так же придавленная вчерашней тяжестью, с удивлением, какими-то новыми глазами, оглядела комнату: дешевые полосатые обои, старая стенка, которую отдали родители мужа еще в самом начале их с Игорем семейной жизни, два продавленных кресла...

«Вот, оказывается, как я живу», — вздохнула не сама, а как будто кто-то вздохнул в ней.

На столе рядом со швейной машинкой лежали аккуратно сложенные стопкой шторы — соседка приносила подшить.

Лариса подумала, что соседка скоро уже придет за ними, и это заставило ее встать. Потом из своей комнаты выглянула заспанная, лохматая Алёнка:

— Доброе утро, мам!

Лариса посмотрела на худенькую, по-девичьи нежную фигурку дочери, похожую на приоткрывшийся бутон, и все, что давило на нее до сих, сменилось одним по-матерински чересчур большим беспокойством: а ведь дочь-то тоже мечтает сейчас о своем будущем! Видит себя в нем успешной, самодостаточной, счастливой, и не знает, что жизнь может вывернуться совсем иначе. «Господи, пожалуйста, дай ей ума!» — помолилась коротко, но очень горячо.

Потом она задумалась о предстоящем втором курсе; выплыли попрятавшиеся по закоулкам, распуганные неожиданной вчерашней истерикой мысли, что у Алёнки нет на осень ботинок, но куртка должна быть еще ничего, что клубника отходит, но скоро пойдет малина, что надо будет закатать побольше салатов, а то прошлой зимой съели все подчистую...

Лариса обрадовалась этим родным мыслям, ухватила за них покрепче. С ними ей стало проще и даже как-то уютнее. С облегчением она почувствовала, что возвращается в привычную колею, и пошла на кухню готовить завтрак.

Александр Пешков

Родился в 1959 году в селе Тальменка Алтайского края.

Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт. Автор нескольких книг прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. И. Белова (2009), литературной премии им. Георгия Егорова (2013), Демидовской премии в номинации «Литература» (2015), Южно-Уральской литературной премии (2016).

Живет в Барнауле.



ВИНОГРАДНАЯ ПРОПИСЬ

1

Ночами бывал морозец, и Степаныч взял в поездку Федю, чтобы таскал уголь на станциях. Парень этот появился в вагонном депо года два назад, жил то у одной, то у другой проводницы: охранял вагон, носил мешки с бельем, долбил смерзшийся уголь и топил печку. Мыл и чистил в туалетах, собирал мусор по вагону, записывал в журнале пассажиров, чтобы разбудить ночью. И никогда не подводил. В поездке Федя носил форменную рубашку без погон. У него была большая стриженная голова с неприятными вмятинами на висках, отчего взгляд его маленьких глаз как-то ненормально сводился к переносице.

Вагон постанывал глухим нутром на стыках рельс, дефилировал туда-сюда по станции, пока формировали состав. Затем поезд выставили на дальний путь, для местных маршрутов. Нескладная кучка пассажиров устремилась в распахнувшееся тепло вагона. По железным ступенькам стучали колесики чемоданов. Тускло горели лампы в коридоре, пахло казенным бельем и дорожным кипятком. А еще ожиданием...

Федя сидел в купе для проводников, вслушиваясь в голоса пассажиров. В коридоре случился затор, тяжелые сумки елозили по толстокожим торцам полок.

— Что-то крутит меня...

— Сейчас сядем!

— От воды этой, зря дала.

— Она ж минеральная.

— Ну не кипяченая же...

Пассажиры кланялись номерам, маленьким и темным. Эти квадратики над лавками напоминали Феде дорожные иконки, какие продают в привокзальной часовне.

— Девушка, где здесь одиннадцатое место?

Люди усаживались наспех, пропуская идущих следом.

С глухим шлепком опускались полки, скрипели ремни сумок, натужно щелкали застёжки.

— Хочу руки помыть...

— Достань салфетку.

— Виноград был кислый, а меж пальцев залипает!

Слышались деловито-настороженные вздохи, это выходила из груди затхлость оседлой жизни.

— Земляков встретила, хоть платок повязывай...

Женщины оглядывали мельком свои отражения в темных окнах, тыльной стороной ладони поправляя прически. Чаще всего волосы были собраны узлом на затылках, а у висков пружинили не смятые еще легкие завитки.

Поезд тронулся с легким рывком, шатко выбрался из города, погрузившись в густую незнакомую тьму.

Степаныч обходил купе, сверяя билеты: «Отдам перед станцией! Не просим. Титан горячий». Напарник Федя помогал снимать матрасы с верхней полки, носил пакеты с бельем, разворачивал простыни старикам. На него смотрели с любопытством. И все же многие стеснялись его помощи, своим рвением он странно увеличивал дорожную маету.

В третьем купе располагались две пары. Парень с девушкой, туристы, с трудом закинули огромные рюкзаки на третью полку. Крашеная блондинка почтенного возраста, следила за их движениями с нижней полки, надежно ли привязали к поручню «эти валуны»:

— На голову-то не упадет?

— Не первый раз...

— Прическу жалко? — послышался голос ее мужа, тучного мужчины.

— Смотрю, отлегло у тебя, после минералки-то!

Затем вздохнула и добавила серьезно и грустно: «Чужая вода только болезни напоит!»

Девушка-туристка склонилась над лавкой, разглаживая простынь. От нее шел кисловатый изюмный дух, видимо, это ей хотелось помыть руки. Федя угадывал людей по услышанным фразам, иногда — по кашлю или запаху. Парень в пятнистом трико, обтягивающим его толстые ляжки, заслонил девушку от назойливого проводника.

Люди укладывались спать, торопясь добрать покой утреннего сна. Притушили свет ламп в проходах, неугомонившиеся перешли на шепот, и только иногда пронзительный луч встречного поезда вместе с долгим яростным гудком заставлял сильнее жмуриться людей даже с закрытыми глазами. Парень в пятнистом трико жевал что-то, выпячивая верхнюю верблюжью губу. Под одеялом покачивались его толстые колени. Свесив голову, он предложил девушке шоколад, «чтоб заснуть». Она подняла руку, поигрывая пальцами.

По тому, как спят люди на вагонных полках, можно гадать об их внутреннем состоянии. Заломленные руки выражают тревогу. Прячут руки под живот — болезнь. Ладонь под щекой — покой и приятные ожидания.

Обнаженные и неподвижные женские руки вызывали у Федя странную тоску. Вот девушка из третьего купе обхватила край подушки, утопив лицо. Волосы похожи на веер из вопросительных знаков. Рукав футболки задрался на плече, и оно мягко оседало под стук колес, словно невидимая, но знакомая ладонь пыталась будить ее, ласково и жалеючи. Плечо гладкое и смуглое, видимо, весеннее солнце уже лизнуло его где-то в горах. Ахватило б им места на одной полке. Если обняться да прилепиться друг к дружке!

Внезапно кончился лес.

На горизонте появилась темно-красная бугристая полоса. Вот поезд сделал резкий поворот и полоса приподнялась. Будто на ут-

ренной зарядке отжался от черной земли мускулисто-облачный торс зари. В армии Федя не служил, не взяли. Поэтому и решил армейский год провести вдали от дома: пытался завербоваться на Север строить мост, на Дальний Восток ловить рыбу. Но кончилось тем, что прибился в депо.

2

Федя любил плацкартный вагон. Особенно по утрам. Много воздуха, света и голосов. Шесть человек просыпаются в купе, будто по случаю большая семья собралась.

Парень с верблюжьей губой отжимался на руках, упираясь локтями в верхние полки, кряхтел и покачивал ногами перед лицом девушки.

— Что, болит?

— Сорвал, похоже, спину.

Спрыгнул и пошарил рукой на полу. Растрепанная блондинка опередила его:

— Это я убрала.

— Спасибо, и так не украдут.

— Нельзя, чтобы вашу обувь кто-то перешагивал!

— Почему? — парень слегка поморщился.

— Ноги болеть станут, — произнесла соседка назидательно, поправляя на висках желтые свалявшиеся кудряшки. Заметив Федю, женщина пожаловалась на рваную подушку:

— Перья в голове, всю жизнь сонной ходить!

На все случаи в жизни у нее была своя присказка.

— У блондинок это незаметно! — пошутил с боковой полки муж в черной тельняшке. Говорил он с одышкой, похожей на торпливый смех, мол, запыхался гоняться за своей шустрой женой. Едут в санаторий, вот она и покрасилась перед выходом в свет!

— Да, стараюсь выглядеть достойно! — гордо сказала женщина. — Семьдесят два года, а на танцах я только молодых выбираю!

Тут только обратили внимание на ее стройные ноги в черных лосинах, и с какой легкостью подцепила она бархатные тапочки:

— Иди ко мне, будем завтракать!

Но муж только кашлянул в кулак и отвернулся. В дороге так бывает: молодых она сближает, а пожилых разъединяет. Вроде и ря-

дом, и еда еще домашняя, в фольге курица. Но не та посуда, не тот кипяток и запах чая, да еще жена салфетки липкие сует!

Парень в пятнистом трико сжал в ладони пустую обертку от шоколадки.

— Уже стоптал! — девушка протянула ему пакет для мусора. В глазах ласковый укор.

Хорошо иметь словечки, понятные друг другу, возникшие, может, случайно где-нибудь в походе. Вся ее ладная крепкая фигура выражала счастливую выносливость, лишь позови ее — и пойдет под рюкзаком так же легко, как шла сейчас по вагону с полотенцем на плече.

— Пусть кушает, пока молодой, — жевала блондинка крыло курицы. — У меня тоже аппетит проснулся. Молодею, значит!

Парень улыбался, глядя на бегущую красную строчку: «Туалет свободен».

За окном показался дачный поселок, мокрые деревья, домики хмурые. Блондинка нанизала вялый взгляд мужа на свой указательный палец с ярко-зеленым ногтем.

— Видел? Яблони уже побелили.

— Да хоть не корчевать, как мне каждую весну.

— Ничего, сил наберешься в санатории.

— У вас тоже сад? — спросил парень без особого интереса.

— У нас воры повадились шуровать, — отозвалась женщина, — чтобы старушки не утруждались сумки таскать! Так я на ограду замок повесила, а ключ выбросила, так никто без спросу не войдет!

— Помогло?

— Мужу моему, — проворчала в сердцах блондинка, возвращая себе возраст. И все ж была довольна, представив, как соседи по даче сейчас в грязи копаются, а она чаи гоняет!

3

Солнечный луч присел на край лавки, будто скромный заяц-безбилетник. Но от скуки лучик осмелел, поднялся, обнаружив на столике книгу-путешественницу в цветной обложке. Лощеная бумага ее давно пожелтела, черный рисунок выгорел, разнокалиберный шрифт названия детектива расплылся от пятен пролитого чая.

Вошел Федя, согнав зайца:

— Можно мне прервать вашу задумчивость?

Говорил искренне, но эта нарочитая культурность напрягала больше, чем бесцеремонность. Степаныч спросил:

— Как там в вагоне?

— Хорошо.

Напарник достал из кармана *свою* книгу. Осадил крепкой пятерней трепыхнувшуюся страницу. Прочитал тихо, почти про себя: «Запертый сад — сестра моя». Но и этого хватило, чтобы проводник вышел из себя:

— Она лежит в тени его...

Вот дурень, поморщился Степаныч. И душа-то вроде вся на поверхности, словно масляное пятно на воде. Может, оттого и задыhalось в ее глубине что-то непонятное. Вот сейчас уткнется в книгу и замрет, читая о юной девушке, что сравнивает возлюбленного с яблоней и укрывается в тени цветущих веток.

— Тебе-то до них что?

Степаныч погладил лысину, похожую на дно сковороды с пятнами белой окалины. Ниже затылка торчала короткая косичка туго сплетенных сивых волос.

— Ну и пусть лежат! Меньше натопчут.

— Пусть, конечно, — Федя бросил в стакан пакетик с чаем. — Я отлучусь, с вашего позволения!

Книгу оставил на столе, и как не пытался Степаныч смотреть мимо нее, но все же уткнулся взглядом в слова о прекрасной Суламите. Для какого-то своего внутреннего подтверждения. Вернулся Федя с кипятком, затем долго и обстоятельно размешивал сахар ложечкой:

— Дети забавные! Бегают по вагону, шебаршатся — как конфетки в пустой коробке.

Федя любил детей, часто вспоминал своих сестер:

— Младшая говорит старшей: ты больфая? — Большая! — Тогда достань мне с полки!

Смеялся он сдержанно, гфыкал и косился на собеседника:

— А та не может, не хватает роста! Ну мы-то с вами понимаем, родители спрятали...

Степаныч не выносил сюсюканий, а тут еще показались травяные палы, копченые стволы берез и сосенки с рыжей мертвой хвоей. Значит, деревня близко.

Вскоре появились маленькие домики с большими огородами, жидкие плетни спускались по косогорам к затаившейся в кустах речке. Сырая песчаная дорога споткнулась у шлагбаума, разворотив глубокие колеи с застывшей в них водой.

В такой вот деревне и родился скиталец Федя. Его любимая бабушка даже на пенсии еще работала учителем русского языка. У внука тоже обнаружилось чутье на правильное написание слов и знаков препинания. Одноклассники списывали у него диктанты, стыдясь и раздражаясь на Федю, дескать, зачем тупому пятерка в аттестат? Все одно дальше околицы никуда не сунется.

На краю деревни зеленеет поляна, на ней футбольные ворота из трех жердей, вместо сетки остатки сугроба. Дети замерли, позабыв про мяч. Деревенское уравнение: три мальчика машут руками, еще два пацана стоят поодаль, меж ними лежит черная собака: «3–2». Знак равенства — это сломанные санки на боку, за ними одинокий вратарь с большой черной перчаткой на руке.

О родителях Федя вспоминал неохотно, и как будто виновато. Отец работал сварщиком в ремонтной бригаде, латал прогнившие трубы. Узким докторским молотком стучал по сизым дымящимся еще швам-рубцам и рыжая окалина падала на снег, как трухлявые оковы.

— Ну и пошел бы сварщиком, — бывало, советовал Степаныч. — Куда с добром!

— За добро и клят будешь.

— Белоручка, что ли? — удивлялся проводник. — В Библии тоже не все ласковы! Ты другие-то книги читал?

— Когда в школе учился.

— Я вот раньше глотал фантастику пачками! Менял у мужиков на базаре. — Степаныч задумался. — Помню, переезжали на новую квартиру, так свою библиотеку вез на тележке. Через весь город! А теперь я кто? Интеллигент в последнем поколении! Дети вообще не читают.

Голос у него глухой и хриплый, как у заядлого спорщика:

— В деревне у тебя есть подружка?

Федя любил поговорить о девушках:

— Звонит одна по телефону...

— Ну вот, и держись за нее.

— Много болтает! А слова все ненужные.

— Так и распознал? Может, угодить хочет?

— Не знаю. Чужие слова.

— Ну, так вернись и скажи, как надо. Женой будет, за тобой повторять научится!

Вагон качнуло, проводник уперся ладонями в столик, чувствуя рядом неколебимую фигуру Феди. Все же уютно было в купе с этим нескладным добродушным парнем, будто с домашним котом.

— Может, в карты сыграем?

— Нельзя мне.

— Тебе много чего нельзя! Потому что меры не знаешь.

— Мера всем разная...

Степаныч вынул из колоды три карты наугад:

— Как разложу спинками вверх — море вижу!

Проводник часто вспоминал, как в детстве его возили в Анапу и отдыхающие на пляже резались в карты. После нескольких партий дураки и умные бежали купаться; возвращались, рассаживались по-новому, подставляя солнцу свежий бок, и вспоминали счет игры. От влажных пальцев темнели и расслаивались уголки карт, на загорелые лица вальтеров и дам прилипали серые песчинки, будто кокетливые мушки.

— У нас батя за всех поиграл! — сказал Федя.

Он тоже помнил карточные бои — в строительном вагончике, когда приходил звать отца домой. Иногда папаша убегал в магазин и сына усаживали играть вместо него. Принесенная бутылка с грохотом водружалась «в отбой», карты падали из рук, словно ненужная окалина. Отец бросал мелочь широким жестом и однажды поставил на кон свой инструмент! Железный чемоданчик с хромированными отвертками, плоскогубцами и узким докторским молотком. Но в конце игры, когда остался с шестерками против козырей, пихнул их трусливо сыну. Доигрывать. С тех пор Федя завязал.

— Можно попросить у вас шоколадку в счет оплаты?

— Зачем тебе?

— Нужно... Хочу сестер в цирк свозить!

Если приплетал сестер, дело серьезно: и правду не скажет, и врать не сможет.

— Вернемся, получишь.

Напарник не унимался:

— Я могу пойти по вагону лотерею предлагать.

Степаныч считал продажу лотереи занятием интеллектуальным и не доверял его никому:

— Зачем тебе шоколадка?

— Для одной девушки.

— Жениться тебе надо.

Проводник задумался, будто даже сочувствуя, ведь трудно представить рядом с Федей подругу, девушку из царских виноградников. Чтобы подходила ему. Чтобы свадьбу сыграть чин-чинарем! Фата, как библейский цвет! Гости со всей деревни, вода в бочках! А вдруг он и за праздничным столом будет вздыхать о Суламите? Как сейчас думает о девушке из третьего купе.

— Лежат порознь, будто чужие!

— Вдвоем на полке не положено.

А и вправду, где оно место на всех счастливое, где эти сады? Втайне Степаныч тоже чувствовал себя обделенным.

Скорей бы станция. Надо углем разжиться, прикидывал проводник. Его раздражал беспечный и одновременно назидательный тон, с каким читал Федя, уходя в благостную отрешенность. Или вдруг спотыкался, елеино смакуя: «Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино». Особенно нравились ему выделенные прописью слова: «Доколе день дышит прохладой». Мол, их можно заменять своими выстраданными словами. И даже соперничать с древним текстом, вкладывая современный смысл.

— Да, прохладно в вагоне...

— Ну мы-то с вами понимаем, кому тепло!

Шелестели страницы, успевая за юркой скороговоркой парня: «Мед и молоко под языком твоим!» Лакомый смысл фразы добывал он, будто орехи колол. И что примечательно, читал Федя

из всей Библии одну лишь «Песнь песней». Всего-то пять страниц. Узкой темной полоской выделялись они на белых торцах книги, даже закладку не нужно!

Но выхватывал он всегда наугад. Будто впервые. Ни звезды астролога, ни карты гадалки не настораживают так, как прочитанная наугад строка из Библии. Пусть все сказанное в ней знакомо и случилось где-то с родней или соседом. И вот вздрогнет душа, суеверно вслушиваясь в каждое замысловатое слово, точнее в эхо от невнятных пророчеств.

Степаныч хотел вытянуть ноги, но помешала сумка, в которой перекатывался, успокаивая душу, четок водки на ужин:

— Слава богу, подъезжаем!

4

Над черным блестящем лужами перроном навис большой серый вокзал с мокрыми карнизами и фронтоном. Дежурная, с тонкой галией в туго застегнутой синей шинели, стояла под фонарем и держала в озябшем кулачке желтый флажок, словно восклицательный знак.

Пассажиры желали скорее хлебнуть свежего воздуха: кто-то прыгивал с подножки в трико и в тапочках, кто-то пятился задом, вцепившись в холодный поручень. Послышались зазывающие голоса торговков. Будто пингвины в шалях, они хлопали руками, отгоняя голубей. Степаныч оглядел товар на ящиках: «Семечки не продавать! А то заставлю шелуху убирать!..»

Подошла Зина из соседнего вагона, она была в форменном плаще и узкой пилотке, уже потемневшей от мороси. На Степаныче предусмотрительно надета хозяйственная шинель, она у них с Зиной одна на двоих. Проводница толкнула его плечом, дескать, привет, зяблик, давай потолкаемся! Степаныч поднял воротник и застегнул верхние пуговицы, прижав ладонью выпуклость на груди, но шинель все равно топорщилась очень заметно, потому что у Зины огромный бюст. Они о чем-то переговаривались, временами поглядывая на окно, где виднелась голова Феди.

Поодаль от всех стояли молодые люди из третьего купе, обнявшись, словно перед расставанием. Девушка положила голову

на грудь парня, и он гладил ладонью ее влажные волосы, успокаивал в чем-то, но, видимо, не мог найти нужных слов. Иногда девушка поднимала голову и заплаканными глазами обрушивала на друга скопившуюся тревогу. Кажется, не понимая даже, что делает, она была парня кулачками в грудь и по плечам. Впрочем, не больно, полусжатыми ладонями: мол, не чувствуешь ты! Слов оправданий ей было мало, она становилась все отчаяннее перед каким-то выбором, а парень — все слабее и неувереннее. Лишь продолжал гладить девичьи плечи, сжимал их, отстраняясь на вытянутые руки. Так, изо всех сил, сжимают дети оседающую башню из песка, готовую рухнуть под собственной тяжестью.

Вдали раздался гудок, его призрачный звук покатился не вдоль вагонов, а куда-то в сторону за водонапорную башню. Зина крикнула, посмотрев на золотые часики, впившиеся в ее пухлое розовое запястье:

— Все! По вагонам!

И опять потекли туманные поля, сменяясь никлыми рощами. Одинокие сосны на краю насыпи стряхивали тяжелые капли с пушистых ветвей. Пряный дух хвои, казалось, проникал в купе, но держался недолго. Перебивало старым жиром, это Степаныч вывалил на стол волглые пироги с загнувшимися краями и жареных лещей с обломанными хвостами и плавниками. Федя поморщился, страдая от резких запахов. У него был невероятно острый нюх. Как-то ночью проводники собрались в одном купе и он учуял дым из соседнего вагона, где замкнуло проводку. Все-таки удивительно, что по отдельности Федины способности вызывали уважение и признание, но вместе не представляли чего-то целостного.

Неожиданно без стука отползла дверь, вошел парень с верблюжьей губой. Положил на столик шоколадку:

— И что это было?

Федя нахмурился, отвернулся к окну. Степаныч спросил пассажира участливо:

— А что, невкусная?

Парень усмехнулся, выпячивая шершавую губу, мол, не предполагал такой наглости:

— Мы ничего не заказывали!

— Ну так перепутал, значит, напарничек мой!

Отодвинул промасленную бумагу, мол, поесть не дадут спокойно. Вытер полотенцем жирные ладони:

— Может, возьмете лотерею? Железнодорожная! Наше ноу-хау, так сказать!

Протянул пассажиру лощеную открытку с черным лакированным пятном на обратной стороне:

— Выигрыш узнаете по Интернету! Вот здесь только нужно...

— Не надо нам ни-че-го! — Последнее слово парень выговорил четко по слогам. Запнулся, с досадой, о полозья и вышел, не закрыв за собой дверь.

— Не надо, так не надо!

— *Нам* не надо, — передразнил Федя, глядя на свое смутное отражение в окне.

Степаныч нагнулся над сумкой, косичка торчала воинственно на затылке, стянутая кожаным ремешком. Вынул четок. Вот ведь, довели раньше времени!

Грязно-желтая закатная дымка в полях смешалась с туманом. Разгибался после снега упрямый сухостой полыни. Сумерки и тоска подступали к сердцу, как брошенные на разъездах домики, с ползучим кустарником вместо крыш.

Глядя на поле цвета хлебной корочки, проводник махнул стопку и выдохнул под одобрителный кивок Феде:

— Отец у нас, бывало, так же выпьет и молчит.

— Ешь, за углем пойдешь на станции.

Проводник выпил, чтобы уравняться с Федей. Не мог более оставаться один на один с его несурзой и дармовой от природы силой. Не хватало ему на трезвую голову воображения представить, как этот увалень подошел к девушке в третьем купе, что сказал ей, каким жестом подсунил шоколадку. И эта невозможность понять Федин поступок теперь не казалась признаком его здравомыслия. Наоборот, Степаныч чувствовал, что потерял способность, как раньше, смаковать фантастику! Утратил цепкость видеть край, черту сбой, за которой душа человека и его психика становятся неуправляемы. В голове Степаныча возникла мысль столкнуть Федю с девушкой. С другой девушкой! «Тогда и посмотрим, — думал он, — все они для него библейские неженки».

За окном темнота, в вагоне тихо, слышно, как урчит кипятик в титане.

Далеко в степи появился светлый катышек, то теряясь, то вновь возникая, расплющиваясь меж деревьев лесополос. И непонятно было: машина ползет по дороге, сведя фары в кучку, или это разбросанные по степи одинокие домики перекликаются таким образом.

На маленьких полуминутных станциях катышек терялся во все, зарываясь где-то в непроглядную темень. Федя вставал, порываясь открыть окно или выйти в тамбур. Бог его знает, что он задумал: прыгнуть из вагона в весеннюю ночь? Чтобы идти, испытывая остужающую сечь на воспаленном лбу. Идти долго, бесконечно долго, до изнеможения. Чтобы увидеть пропавший свет, чтобы прозреть! Степаныч чувствовал это наверняка, потому что сам испытывал подобное в свое время. А сейчас лишь осаживал Федю, все более утверждаясь в своем решении.

Слава богу, поезд тихо трогался, огонек за окном появлялся вновь, уже с досадой пеняя Феде за его нерешительность. Он становился все крупнее. Огни тоже различаются: одно дело милый свет из домашнего окошечка, другое — бессонный свет от фонаря, или мерцающий отраженный в воде, или заревой свет от теплиц. Но самый чудный — свет от костра в сырую промозглую ночь.

Последний раз катышек мелькнул на краю темного холма, за которым вдруг открылась светящаяся гирлянда улицы. Она приняла бродячий огонь в свои ряды. Приближалась крупная станция. «Одевайся, пора!» Шинель изнутри пахнет духами и влажной подкладкой, на груди пусто и широко. Два ведра в руки, лужи на перроне, чужие тропинки, за последним вагоном товарняка влажный гравий, узкая и резкая тень от переходного моста.

Даже в сумерках на деревянном заборе были хорошо заметны волнистые полосы. Это отметины бывших сугробов, густо посыпаемых за зиму угольной пылью. У входа будка сторожа с циклопическим глазом прожектора, в свете которого роились капли дождя. Знакомая собака, под тощим брюхом на длинной мокрой шерсти блестели крошки антрацита. Гусеничный кран был по-

хож на железного пеликана, под ним уже копошились проводники из соседних вагонов.

Вернулся Федя за несколько минут до отхода поезда; долго тер салфеткой грязные ладони.

— Зине притащил?

— Да, успел. Она же женщина...

— Ну так с нее причитается!

Напарник снял шинель:

— Мы-то с вами понимаем, что железка — прорва! Нормы кто делает? Люди. Ошибаться могут, так ведь?

— Конечно.

— Раньше мозоли были, — тыкал Федя пальцем в ладонь. — А теперь вмятины.

Степаныч развернул пакеты, показывая, что не ужинал без него. Налил в стакан, благостно крикнул:

— Не пойму я... зачем тебе мыкаться с нами? И в деревне бы нашлось что таскать.

Федя откусил от холодного пирога:

— Собака у сторожа незлая. Просто любопытная. Встала на задние лапы и смотрит за нами, считает ведра.

Он вперил в проводника неподвижный взгляд. Сказал шепотом, по секрету:

— На перроне стоят, обнимаются. И дождь нипочем, даже лучше!

Это на сложные темы он был горазд рассуждать, а все простое — мимо ума. Ну помирились, в вагоне неудобно было. Он ведь тоже под дождем бегал, Зине угодить хотел.

В вагоне опять полумрак, люди дремали.

Луна приоткрыла складки туч, будто ее насильно впихнули в темное и сырое поднебесье.

Зачем хмурым лесам сейчас ее лимонный свет? Такая ясность! На ветвях различимы висящие крупные капли, и от этой ненужной подробности за окном становилось еще неуютнее.

Федя уткнулся в свою книгу: «Поднимись, ветер, повеи на сад мой». Суламита перекликалась с возлюбленным, так дети ищут ягоду в лесу: и потеряться страшно, и лакомое место открыть жаль.

— Все люди порознь, а они вместе!

— И ты попробуй.

— «Сосцы ее пахнут...»

— Селедкой пахнут! — перебил Степаныч.

Втайне он завидовал смелости, с какой Федя рассуждал о любимом сюжете из Библии. Пусть даже по своей убогости.

— Нельзя трогать не твое!

— Мне надо...

— Тебе другое дело надо.

Напарник поморщился, резко встал и рванул фрамугу, будто выпуская неприятный запах. «Сосцы ее пахнут лилиями!» В купе ворвался ночной ветер, напоминая об оттаявшей земле, березовой гари и сладкой кленовой коре. Федя высунул руку в окно, нащупывая в упругом воздухе что-то тайное и сладостное...

— Закрой! — прижал Степаныч ладонью задравшийся край газеты.

На покрасневших зальсынах юноши проступила влажная отава золотистых волосков.

— Последние мозги твои выдует!

— Положи меня, — Федя глянул на проводника почти ясным, но безнадежным взглядом, дескать, вот ты какой!

Сквозь шум ветра стучали колеса-молотобойцы, бесконечно удлинняя и вызванивая: «положи(жи-жи-жи) меня(ня-ня-ня), как печать(чать-чать), на се(се-се)рдце твое-е-е!»

— Потерпи, недолго осталось, — Степаныч хлопнул фрамугой. Может, и правда, не трогать его, пусть живет себе как бог положил.

6

— Выпей воды. А может, водки? Немного. Иисус тоже не залпом смог!

Федя тоскливо качал головой и прятал руки за спину, он еще ощущал в ладони что-то мягкое, запретное.

— Не ходи к ним. Я сам белье приму.

На конечную станцию поезд входил, натужно скрипя и шараясь на стрелках. Яркий свет вламывался в вагоны, ослепляя пришедших людей.

После того, как вышел последний пассажир, Степаныч сказал напарнику с угрюмой решимостью: «Отдыхай пока!» Вернулся в купе, выпил и позвонил кому-то, сообщив номер вагона и путь.

А Федя смотрел на перрон, расплющив о стекло широкий нос: два больших рюкзака на толстых и маленьких ножках удалялись в туманную завесь, мягко сталкивались друг с дружкой.

Сейчас он ляжет на *ее* место в третьем купе. Обнимет подушку, пахнущую вялым виноградом! В свете фонарей сыпал мелкий снежок. На стекло плюхались жидкие снежинки, таяли и превращались в прозрачные цветки-незабудки.

Он уже задремал, когда громыхнула дверь в тамбуре. Степаныч встречал кого-то. Голос один, а говорит за двоих. Позвали Федю, но так, необязательно, больше для памяти, что будет и до него дело. По вагону распространился новый запах: смесь духов, пива и кожаной куртки.

Возле титана стояла девушка: куда идти? Да в любое купе. Знакомый поезд. На нем приехала в город. И возвращалась домой обычной девчонкой, опасаясь встретить земляков. А чего боялась? Да так, сама не знаю, платок надену по-бабьи и сижу тихонько. «Отходила так...»

Мимоходом девушка взяла с подноса чипсы и бутылку с водой. Федя метнулся на лавку, пропустив непонятную пассажирку. В пятом купе скрипнула полка, зашипела минералка под колпачком...

«Федя, ты где?»

В купе сидел мужчина в кожаной куртке. Степаныч кивнул на оробевшего парня: вот для этого дурня! «Это стражник», — догадался Федя. Гость сказал:

— Мне все равно! Здесь подожду.

Степаныч толкнул напарника в грудь, мол, иди за ней!

— Зачем?

— Можешь билеты проверить.

Стражник засмеялся грубо и казенно. На левой брови у него свежий шрам:

— Решайте меж собой, кому проверять.

— Иди, Федя, иди! — смеясь, настаивал Степаныч. Но не получилось у него сказать легко, как хотел, игриво, будто бы дело-то привычное, вполне приятное.

— Нет, я с вами, — заупрямился парень.

— Пусть остынет немного.

— Время пошло, — стражник играл литыми плечами, будто его корежило от скуки: — Давай в карты, что ли.

— Федя, ты как? — Степаныч вынул колоду.

— Везет дуракам, и тем, кто впервые!.. — сдвинулась половина брови, другая, пришипленная, осталась на месте.

— У него и то, и другое! — в голосе проводника азартная хрипотца. — Ну что, Федя, решился?

— Сдавайте и мне!

Карты полетели по кругу, падали на три кучки. Началась игра, только интерес не понятен. Мелкие карты выкладывали торопливо, крупные берегли, но при необходимости рубили с оттяжкой. В лица друг другу никто не смотрел, будто стеснялись чего-то. А девушка? Почему играют без нее? Она тоже участвует в игре, и так же скидывает в «отбой» неугодную тоску.

— Во сыплет козырями!

— Мелких жалеть, тузов не видеть!

«Кончатся карты, — думал Федя, — и все встанет на свои места: стражник заведет машину, увезет девушку. Проводник закроет тамбур и ляжет спать до объявления посадки».

— Ходи! — треснула щербатая бровь. — Кто выиграет из вас, тот и пойдет!

Горит лицо у Феде. Карты хлещут, будто пощечины женской рукой. Схватить бы ладонь налету да поцеловать треугольник судьбы!

Стражник смеется, ему пришла в голову прикольная шутка, мол, торопитесь успеть, стоянка поезда сокращена. Чувство знакомое: пассажиры жмутся к вагону, и неизвестно, в какой момент раздастся свисток машиниста. Кому-то приспичило в вокзальный буфет, потому что нет вагона-ресторана. В последнем купе родня не может расстаться, не торопятся и не боятся, есть же стоп-кран. Кто-то прикидывает от скуки: что делать, если отстанешь от поезда? Поедут без тебя вещи и документы. Вот и проводник глядит коршуном из открытой двери. Гудок вдали тихий, почти вкрадчивый. Нет, не отстанешь от судьбы, не отвяжешься...

Колода кончилась, на руках осталось по шести сизых. Степаныч стелил беззвучно, стражник берег туза, чесал им щербатую бровь от удовольствия, выжидая момент, чтобы пригвоздить победным

взмахом. Но Федя бросил карты раньше, мол, нужно идти, «поторопить провожающих».

Засмеялись вслед, с облегчением.

— Иди, проверь!

7

— Тук-тук! Ваш билетик!

«Забавно», — усмехнулась девушка. Тонкие пальцы нырнули в шуршащий пакетик.

— Куда едем?

Пожала плечами. Волосы взлохмачены, как бывает у женщин, только что снявших платок. Он даже уловил движение головы, совсем легкое, как бы вослед невидимой ткани.

Федя уперся локтями в края полок:

— Мне сказали: здесь та, которую я искал!

Отстранилась, глубже вминаясь в мягкую спинку:

— Безбилетницу?

— Суламиту.

Тонкие губы втянули золотистую чипсу, словно банкомат карточку. Чего несет?

— Девушка, знаете что, а возьмите лотерею! — Заметил удивленные глаза, поспешно добавил: — Это подарок.

Присел рядом, поворачивая бумажку к свету:

— Вот здесь нужно соскоблить и узнать номер...

Пассажирка бросила пакет, стряхивая сор с ладоней:

— Монеткой...

Ощупала карманы джинсовой куртки, провела ладонями под грудью, наблюдая за странным парнем:

— Прямо, что ли сразу выигрыш?

— Вот здесь, где «точка ру». Дома по Интернету найдете номер...

Девушка чиркнула ногтем черный квадратик, но Федя остановил ее руку. В голове тупо брякало «прямо сразу». Лотерея слетела на пол. Мягко дернулся вагон. Он еще чувствовал, что вдавил коленом лощеный клочок... За окном проплыл перронный фонарь, с каким-то невесомым светом, затем указатель с плоским черным пешеходом, дразнящим хищную морду локомотива. Слышались

гудки, составители в оранжевых жилетках катались на подножках вагонов, как беспризорники. Пару раз дернулся пол под ногами, щелкнул замок полки над головой. Стало зябко и скучно.

После той поездки Федя пропал. Говорили, вернулся в деревню. Но главное — женился. А через пару лет, весной, его видели с женой в поезде. На том же маршруте. Знакомой проводнице он рассказал, что работает на винограднике в предгорье. «Ты оставил Библию в кармане шинели. Помнишь?» Той самой хозяйственной, с выпуклостью на груди! Молодая жена слушала их равнодушно, затем вышла, перекинув светлую косу за плечо. Федя следил с нескрываемым обожанием за пушистой кисточкой меж лопаток. Потом рассказал Зине, что теперь *библию* изучает по каллиграфии листьев на подвязанной к шпалере лозе. И лучший запах для него — запах цветущего винограда.



Анжелина Полонская

Родилась в поселке Малаховка Московской области. Автор семи сборников стихотворений и сборника рассказов. Стипендиат Фонда Рокфеллера в области литературы.

Домой

Во сне я еду домой.
Куда? Где мой дом?
Там, где медленная зола
падает на лицо
и белым-бело.

Я забыла, откуда поезд,
куда идёт,
у кого спросить, сколько лет,
сколько лет мне должно
быть?

Машиниста нет, нет проводника.
Поезд жизни —
некому оторвать билет.

Хрупкость человеческого стекла —
что острее осколков его?
По оголённым рукам,
по голым рукам течёт.

Нет ориентиров, кроме любви твоей.
Облака, облака.
На заброшенном полустанке
стоишь и ждёшь
одна. Как тень от креста.
Как крест.

К пеплу

Мы в ночь. Мы абрисы из пепла
верхом на призрачных конях.
Гнедые никуда, ни с места,
а только плачут и горят.

Хлестать коней и видеть шрамы,
и черпать от пустого дна.
Там за спиной — одни утраты.
Плыть, но куда? — кругом зола.

И наши мёртвые повсюду —
в деревьях, в праздниках, в цветах.
От смерти не даёт очнуться
им тот же пепел на устах.

А хлынет свет, постой: как трудно,
когда уходит ночь из глаз.
И вместо сердца гаснет уголь
и рассыпается тотчас.

Если бы мы были цыгане

Я всего лишь парус,
тонка парусина — рвётся.
Никого на палубе,
никого за штурвалом.

Если бы мы были цыгане
со свистульками,
алым подолом,
мы бы гуляли табором (разве двое не табор?).

Он шрам бы носил и оспины,
она бы была женою.

Но цыгане сгорели в печах,
в нас не оставили крови.
Их ножи переплавили.
Их волосы развеяли по ветру.

Я, ромалэ, лишь парус —
никого на палубе.
Никого за штурвалом.

Элегия цветущих слив

Это не мой дом. И немой сад.
Ты стоишь у ворот,
потому что искал меня.

Я сливы любила в нём,
если была весна.
И если осень была
до самых тонких волокон.

Ты пришёл их срубить —
чтобы вытравить яд
воспоминания,
что же, развейся, прах!

А за твоим плечом
краска с икон сошла.
Не Богородица —
дама небытия.

Поздно кричать: «Рублёв!»
Мастер как мотылёк.
Вот она, казнь твоя
или твоя жена.

Будешь расти к земле.
Бледную вспомнишь мать.
В каждой раздаче червь.
Бросишь колоду карт.

Нет больше слив в саду.
Мне всё одно — я снег.
Мёртвой или живой
я на тебя паду.

Будто ты повела меня в храм

Будто ты повела меня в храм,
как водят полоумных или детей — целовать
зацелованного Христа.
Где просвира, а где алтарь — мне одно.

Будто храм, собранный из костей,
почерневших от времени, — кость к кости,
ящеров или рыб, и шипы хрящей
рвутся ввысь, равновесие обрести.

Мы вошли в него посидеть на пустой скамье,
было холодно и темно.
Всё написано или почти что — всё.
Верь или не верь свечам.

Знала я, к сорока годам все покинут меня,
загустеет кровь. До последнего дня
будешь ты со мной, ты одна —
храм ли это или слепой огонь.

Цветок отчаяния

Нет. Лучше молчание.
Цветок отчаяния на губах.
Не печалься,
хотя бы раз
каждому
выпадает
тропинка к дому,
занесённому тишиной.

Мы вернёмся
ненадолго.
Дождь ударит о подоконник,
и два мака
воспоминаний
вздрагнут
в прозрачных каплях.

Столько света.
Загорятся потухшие лампы,
и никто за столом
не признает, где живые,
где мёртвые.

Нам отпущен
единственный день —
повидаться.
Так откроем шампанское.
Все уходят,
журавли смотрят в небо,
блекнет наш циферблат.

Куст желаний,
оборвал ветер ленточки,
и с тех пор

не страшна
темнота надо мной.

Пусть моё отражение
в глазах твоих остаётся,
иероглиф,
покуда совсем не исчезнет.

Зеркало

Я шла вперёд, дороги не было иной.
Нас с прошлым разделяли двери:
старела мать,
и дерево сгорело, и что-то там ещё
в груди больной.
Шла нищенка повсюду следом
с огромным животом, как шар земной,
и денег не брала, и песнь не пела.
Любовник ли бессменный,
как труженик, клонился над наделом,
бессонницей ль звенело тело —
мелькал пробор, укрытый сединой.
Её присутствию не было предела.
У зеркала спросила я:
«Что хочешь ты, ничтожная?» —
и била зеркало за то, что было мной.
Но в каждом из подробнейших осколков
она жила и сквозь меня глядела.

Эд Побужанский

Родился в 1968 году в городе Черновцы (Украина). Окончил факультет журналистики Молдавского государственного университета и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Работал на радио, в газетах и журналах. Дебютировал поэтическим сборником «Светосплетенья» (1992). Автор трех стихотворных книг. Основатель и главный редактор поэтического издательства «Образ». Живет в Москве.



Друг

Из двух Эдуардов — Багрицкого
Он любит, пожалуй, чуть меньше...
Во мне нету шарма бандитского,
Но дома есть пачка пельмешек.

И сколько нам дружбы ни дадено,
Но в час, когда мир я покину,
Он молча со щёк моих каменных
Последнюю сбреет щетину.

Вера

Знаю, воздастся и мне сторицей
За то, что вера моя слаба.
Я снова пытаюсь перекреститься —
Но только пот вытираю со лба.

Молитву шепчу — и немею от боли:
Искрят от неискренности слова...
Сердце моё — поле вечного боя,
И павших не счесть...
И лишь вера — жива.

Воскресенье

Грелка в ноги, судоку
Да ромашковый чай.
Моё сердце в субботу
Перестанет стучать.

Санитарочка бодро
Перестелет бельё.
Всё? Не всё.
За субботой
Воскресенье моё.

Московский роман

Для каждой Наташи за сорок
Найдётся свой пылкий Фархад.
Он любит все шесть её соток
И двушку в панели у МКАД.

Он знает по-русски три слова,
Но варит божественный хаш.
Ну как не влюбиться в такого?!
Тут хочешь не хочешь, а дашь!

Наташа б хотела Сергея,
Ивана, Федота, Петра.
Но те — то женаты, то геи,
То ждут у аптеки с утра.

Фархад хоть не знает Озона,
Но страсть в его сердце кипит,
Ведь вид из окна на промзону —
Прекрасный на жительство вид!

Пробел

Слева — слово.
Справа — тоже слово.
Я без них
Не точен и не цел.
Я словами лишь и образован.
Не поэт я —
Между слов
Пробел.

Новый бог

И глас твой — стучит в перепонки.
И глаз твой — Gorilla Glass.
И вместо икон — иконки.
Айфонный иконостас.
Как страшно нам, серым и серым,
В стране беспробудной лжи
Остаться без помощи...
Siri,
Как дальше нам жить, подскажи...

Подполтинники

Смешное слово — «подполтинники»,
Но я почти уже привык.
Из терминала в поликлинике
Торчит талончик, как язык.

А мы, конечно, пободаемся
(Рога не сточены пока),
Но только чаще попадаемся
На козни беса-шутника.

Во мне не осталось ни веры, ни дара,
Ни сил не сорваться с перил.
Но где-то на дне чемодана есть пара
Ещё ненадёванных крыл.

Во мне не осталось ни прыти, ни пыла,
Один только пепел да прах.
И солнце остыло, и ветер в затылок.
И вдох... или вздох... или взмах...

Цитаты

И криком вкривь распоротые рты,
и жёлтые цветы в стеклянной шее,
и искушение пить до тошноты,
до выяснений личных отношений —
всё это словно сбито из цитат,
а мне бы жизни — прочной и весомой!

Но в полночь хлопнет дверь —
и циферблат
рассыплет
римских чисел хромосомы...



Лариса Вигандт

Окончила филологический факультет Алтайского государственного университета. Работала корреспондентом, обозревателем, редактором в краевых средствах массовой информации. Автор литературоведческих статей. Член Союза театральных деятелей РФ (секция критики). Живет в Барнауле.

РОДИОНОВ

Глава из книги-биографии

Александр Михайлович Родионов (1945–2013), писатель, знаток истории Сибири, общественный деятель, защитник русской культуры на Алтае

Дневники. Правило белого камешка

В мае 1969 года Александр Родионов выходит из стен Томского политехнического института с дипломом геолога. Радость омрачена расстроенной семейной жизнью.

Молодых супругов по их настоянию распределяют в разные концы Кемеровской области. Елизавета с дочерью едет в Елань, Александр — в Тисуль.

А хочется выпускнику Родионову в Среднюю Азию. С просьбой о помощи он обращается к Леониду Агееву, поэту и геологу. Старший товарищ отвечает в письме: «Жаль, что ничего у нас не вышло с твоим перераспределением... Но путь, который я тебе объяснил в письме, пожалуй, единственный. Ты им не пренебрегай хотя бы на будущее: отработав по распределению 2 или 3 года, ты

вполне можешь списаться со Средней Азией и махануть туда. ... А насчет стихов — какой может быть разговор! Конечно, присылай, рад буду почитать и помочь, чем смогу»¹.

Восточная экзотика пришлась по душе Родионову во время летней студенческой экспедиции, а, кроме того, и работа где-нибудь в Узбекистане, к примеру, кажется молодому специалисту более интересной и перспективной. В глубине души таится надежда стать первооткрывателем месторождения редких металлов; чутье поисковика его не обманывает, действительно, все крупные урановые залежи открыты в советские годы в юго-восточных республиках СССР. Азия влечет еще и потому, что просто хочется уехать и обнаружить себя за тысячи километров совсем другим человеком — умным, добрым, образцовым, — каким искренне стремился стать.

В конце августа Родионов зачислен в состав Мартайгинской полевой геолого-разведочной экспедиции ответственным геологом по массовым поискам. Замкнутый и мрачный, разочарованный в себе, отправляется он в таежный угол. Забивается в тисульскую нору, дабы разобраться с самим собой, вытряхнуть тяжелое нутро на страницы дневника.

«Крещение, 1970.

Теперь уже можно с уверенностью сказать, что подчинить себя себе нет силы. Теперь вопрос стоит так: как долго смогут ужиться два начала? Кто-то должен победить — зверь или человек.

21 января.

Это похоже на состояние тайного горба. Никто не знает и не видит, что ты горбат душой.

1 февраля.

Что окажется дороже? Свобода двадцатипятилетнего оболтуса или благодарный взгляд дочери?

21 марта.

Самое плохое в том, что я уже не повинуюсь себе. Время подарило взлет, время и отняло его. Осталось только состояние того, что все временно, преходяще, и по-настоящему радостно смотреть на сегодняшнюю дымку я уже не могу...

¹ Государственный архив Алтайского края (далее ГААК). Р-1696. О. 1. Д. 120. Л. 1.

Беда, беда.

Но никто не должен знать о медленной смерти»².

Родионову не исполнилось и двадцати пяти, когда он поставил себе суровый диагноз. В записях недуг не называется напрямую, а обозначается иносказательно: тайный горб, горбатая душа, медленная смерть. Порой беда проступает на страницах дневника в подсчете утраченных дней. Родионов растерян. Он, умный и здравый человек, не в состоянии усмирить в себе другого — агрессивного, прущего наружу под действием алкоголя.

Со своей бедой Родионов боролся всю жизнь с переменным успехом. Будут испробованы все способы: и бабки-шептальки с заговорами, и все известные медицинские схемы, и самое обычное обращение к силе воли. Бороться с болезнью будут помогать и мама, и жены, и друзья. Сохранились тетрадки матери, Татьяны Леонтьевны, с конспектами антиалкогольных лекций (их читали по радио), эти листочки она подсовывала сыну.

Родионову удастся отвоевывать у болезни куски жизни — месяцы и годы. Благодатные периоды он подчиняет жесткой дисциплине: архив, библиотека, письменный стол — «верстак» в его лексиконе. После поражений с удесятеренной энергией набрасывается на работу.

Родионов не разрешал друзьям, да и близким не всегда, разговаривать с ним на болезненную тему. Обрывал: «Падаю — умею подниматься». Однако случались редкие откровения, нечаянные прорывы утаенных переживаний. Зачем-то довелось быть их свидетелем, и потому с полным основанием утверждаю: никто сильнее не стыдился обезображенного лица своего, чем сам Родионов. «Тайный горб» он ненавидел, но избавиться от него не мог. И, конечно, никто не страдал от «состояния зверя» больше, чем близкие, семья; сколько хватало сил, они мирились с двуликостью родного человека.

В ранних дневниках периоды падения он помечает словом «аут», в поздних — перечеркивает пустые страницы латинской буквой «Z». Zero. Знак сигнализирует: нуль, ничто, никто, ничтожество.

² ГААК. Р-1696. О. 1. Д. 123. Л. 5, 14.

Сам факт существования дневников Родионова стал неожиданностью. В 2011 году Александр Михайлович с большим интересом, даже восторгом встретил публикацию дневниковых записей своего друга, поэта Владимира Башунова в журнале «Культура Алтайского края». Сразу по прочтении сказал: «У меня таких дневников нет». В тот момент реплика прочиталась как факт полного отсутствия тайных тетрадок, и не ждите, мол, и не ищите: весь я на поверхности таков как есть. Теперь ясно: писатель акцентировал слово «таких» — хотел подчеркнуть разницу в содержании его записей и друга.

Владимир Мефодьевич Башунов исповедуется дневнику всю жизнь, и в зрелые годы доходит в заметках до ёмких жизненных и литературных формул, философских изречений. Вот для примера: «Привязанность к отдельным словам обнаруживает, открывает, выговаривает душевный темперамент человека — в данном случае поэта». «Наши церкви ниже ростом американских небоскребов, но в них больше небесного, сильнее ощущение небесного, не говоря уж о душе. А те точно: небо скребут, обдирают». «В русской поэзии есть отзвук на все, на всякое сердечное движение. Поэтому в ней можно найти утешение душевному разладу, даже оправдание своим недостаткам». «Что необходимо, то возможно. Поэтому возрождение России, возрождение человеческой жизни через обретение Бога и веры — возможно?» «Способность писать это не способность писать в рифму, но способность чувствовать и понимать жизнь».

Александр Михайлович прекратит исповедальный опыт в 1982 году, в 37 лет. Блокноты будет вести по-прежнему, но характер записей в них кардинально изменится. В тетрадках не станет откровений, будто кто-то внезапно перекроет особый клапан и навсегда запретит подспудному изливаться на чистые страницы. С годами изменится даже форма записных книжек. Вместо добротных пикетажных книг, которые выдавались геологам, блокнотов с усиленными, почти фанерными, корочками, обстоятельных общих тетрадей Родионов использует узкие горизонтальные планинги на спирали. В отличие от привычного ежедневника, вы-

полненного в формате книги, планинг отводит на каждый день не страницу, а узкую колонку из двадцати трех строчек. Экономная организация писчего пространства подразумевает предельно короткие записи — одно-два сигнальных слова. Поздние дневники Родионова являют спрессованную модель дня, собранную из часов, фамилий, и приказов самому себе, связанных с творческой работой. Матрица.

Много общего имеют юношеские тетрадки Родионова и Башунова, они подобны друг другу, как все без исключения дневники молодых людей и начинающих поэтов. Страницы пестрят цитатами великих и высказываниями знаменитых современников. В плотные слитки сбиты первые строчки собственных стихов, отправленных в литературные журналы, рядом пометки: «напечатано» или «no pasaran». Сюда же, на заповедные страницы, заносятся жизненные наблюдения и внезапно вспыхнувшие поэтические образы — упаси бог потерять.

Не знаем, что имел в виду Александр Михайлович, говоря, что нет у него *таких* дневников, как у Владимира Мефодьевича. Боялся уступить в извечном писательском соперничестве? Напрасно.

Родионовские пикетажки читаются с острым интересом. Изучение записей превращается в общение с автором, и, как ни странно, напоминает первое знакомство, нужно заметить, очень приятное, притягательное. Удивителен молодой Родионов — мы такого не знали. Время за дневниковыми страницами бежит быстрее, чем хотелось бы, кажется, что архив заканчивает работу возмутительно рано. Так бывало и в родионовском доме на улице Пушкина в Барнауле: уже и за окном стемнеет, а разговоры не переговорены, до точки в теме далеко.

Дневниковые записи Родионова экспрессивны и прямодушны. Что, впрочем, понятно: зачем человеку манерничать с самим собой? Другое удивляет: он отдал их в архив. Следовательно, не побоялся довериться современникам и потомкам, открыться целиком перед близкими и дальними. Видится в этом шаге — от сокровенного к публичному — попытка объяснить себя, уже оттуда, из небытия, чтобы быть здесь понятым и прощенным. Знал: рано или поздно прочитают. И хотел этого.

Дневники, возможно, — лучшая творческая работа, выполненная Родионовым в 1970 годы.

Первая дневниковая тетрадь Александра Родионова датирована 1969 годом, начата в Тисуле. Читая ее, мы видим молодого бордатого рыжего человека, в кирзачах, штормовке, с геологическим молотком в руке. В его рюкзаке — томик Макса Волошина и две пикетажные книжки. Одна — рабочая, для геологических записей, другая — личная, под дневник и литературные опыты. На осенних таежных тропах он иногда делает привал, чтобы занести в геологический талмуд наблюдения на местности, и черкнуть в дневник строчку-другую.

На специальных вставках с миллиметровой сеткой появляются топографические отметины, а на белых листах — пространные пейзажи или зарисовки интересных предметов, обнаруженных на пути следования, вроде скребка древнего человека или наколочников стрел. Геолог — он и художник.

Тисульская зима 1969–1970 годов проходит под знаком трудов и самобичевания. С утра — камеральный труд, расшифровка геологической информации, вечерами — сражение с рифмой, затворничество с дневником. Пишет без пропусков, еженощно.

Вот январская ночь без сна, с 26-го на 27-е. Тема та же — «тайный горб» — но выписана в столбик. Таежный затворник выводит первую строчку: «К тридцати годам накуролесив...»³. Далее лирический герой, свесив похмельную голову, слушает сопение старого чайника на плитке, вспоминает дочь и искренне хочет начать жить иначе.

День начать свой новый без оплошки,

Позабыть про боль былых утрат,

Что ж ты задержался у окошка

С сигаретой горькой до утра?

Доводить до печатного варианта безотрадный эскиз не стал, бросил. В черновиках отвалы пустой породы обильны. Но все же

³ ГААК. Р-1696. О. 1. Д. 123. Л. 10.

случилось Александру в августе — сентябре 1969 года напасть (воспользуемся геологическим словарем) на жилу рабочей мощности. Несколько крепких стихотворений выживут и через шесть лет войдут в его первую книгу. А пока им отдает полполосы газета томских политехников «За кадры» от 25 октября 1969 года. Поэтическую подборку под заголовком «Из цикла «Осенние листья» сопровождает слово редакции: «Александр Родионов, чьи стихи мы печатаем сегодня, известен многим нашим читателям. В прошлом году он окончил геолого-разведочный факультет ТПИ. Сейчас он работает инженером-геофизиком в п. Тисуль Кемеровской области. Редакция часто получает от него письма. Саня пишет, что очень скучает об институте, просит сообщать, что нового в ТПИ, как живут, над чем работают друзья-литобъединенцы. Публикуя его новые строки из осеннего цикла, мы говорим: «Не тоскуй, Саня! Успехов тебе и радостей на работе! Полезной тебе руды!»

Достаточно и первых строк, чтобы уловить настроение автора: «Мне сегодня нужен собеседник...», «В ту пору отчужденыя долгого...», «Закатился тускнеющий шар...». Автор печалится, познает себя и осмысливает будущее.

Лучшим в подборке представляется вот это:

Две недели подряд я живу в конюховке,
за стеною лошадки травую хрустят...
Выйду ночью, поглажу гнедого по холке,
сено в ясли подброшу, и снова назад.
Ни о чем не грущу. Плащ повешу за дверью,
он рекою, и ветром, и пылью пропах,
я сегодня почти два десятка отмерил
километров,
теперь вот курю на дровах,
на березовых чурках у печки железной.
Печь малиновым боком маячит, искрясь.
Я не вижу занятия — на ночь полезней,
чем в печурку смотреть да покуривать всласть.
И летят под стропила полночной конюшни
треск поленьев и мерное хрупанье трав.

Хорошо жить вот так —
у судьбы не канюча
никаких разособенных прав...

В «Конюховке» — отступление от звездности, которую он все же подхватил в студенческие годы. Родионову показалось, что успех на институтской сцене, известность в многотысячном вузе, знакомство, дружба и переписка с признанными поэтами свидетельствуют о его исключительности, избранности. Здесь же, у печурки в «полночной конюшне», — примирение с бытием, отрядное слияние с природой, осознание равности себя и всех.

Он еще будет биться с вопросами избранности на страницах дневника. Для поиска ответов выберет верный путь — чтение Библии: «14–15 октября 1970. «Перед богом все равны», — сказано. Но — сказано же — Избранник божий, перст бога на него указал. Хм... Какая-то несуразица. Значит, не все равны, то есть не умеют жить так, чтобы перст божий указал на всех»⁴.

Как бы то ни было, главное правило для себя он теперь вывел: «никаких разособенных прав».

Дневники Родионова замечательны тем, что в них дышит благодатная сила молодости — нет ничего невозможного в начале жизни. На смену испугу и смятению, в которые его свергла бесприязность собственного подсознательного, приходит вера в себя.

Начало 1970-х — сплошь попытка меняться, совершенствоваться: не сметь любоваться собой, отрицать себя, не допускать пустых часов, расслабленной болтовни, владеть собой. Цель — вира, на-гора! Он пытается взнуздать свой норв, выковать для него нравственный канон, который поможет жить и творить. Работу по выведению или — говорю с улыбкой — селекции новых качеств характера фиксируют дневники.

«Вчерашний день отмечен белым камешком, — записывает 9 июля 1970 года. — *Abbo lapillo diem notare*. Перебирая, отмывая из рухляди дня что-нибудь стоящее, с ужасом отмечаешь, что лоток пуст, все легкое уплыло с водой. Значит, не искал в этот день,

⁴ ГААК. Р-1696. О. 1. Д.123. Л. 68.

а просто существовал. Вот тебе и ни дня без белого камешка. *Nulla dies sine alba lapilla*»⁵.

Правило белого камешка останется с ним до конца.

Одну из ранних дневниковых тетрадей открывает цитата из книги «Воспитание воли» французского педагога Жюль Пэйо: «Для воспитания воли необходимо распинать себя по мелочам»⁶. Написано красиво, разборчиво. Строки подчеркнуты, и не иначе взяты эпиграфом к жизни.

Все девять месяцев, что живет в Тисуле, с августа по май, он несет себя по кочкам, хает нещадно, выворачивает запущенный испод, и бьет, и чистит, и скребет его до изнеможения.

Распинает и характер неангельский, и творческие опыты свои. «Это абортыш, а не стих»⁷, — гневается на безжизненные строки. После девятнадцати страниц, исписанных стихами Бальмонта и Волошина, выносит себе приговор: «И ни слова о поэзии больше. До дней уверенности, что ты имеешь право говорить о ней»⁸.

Получив профессию геолога и работая уже в ней, Родионов твердо решает стать поэтом. Он делает ставку на самообразование и настырные пробы пера. В дневниках почти нет геологии, зато с лихвой, плотно, в каждой строчке — литературные темы. Он составляет огромные, на несколько страниц, списки книг, с указанием издательства, тиража, цены. Все это будет прочитано.

Собираясь в поле, Родионов первым делом набивает книжками и блокнотами непромокаемый геологический вьючник.

Как-то довелось ему заехать на несколько дней в геологический лагерь к Петру Падерину, младшему однокашнику по факультету. Предложил другу построить отдельную землянку — зачем в вагончике мерзнуть? Вместе они долбили камень, укладывали ря-

⁵ ГААК. Р-1696. О. 1. Д. 123. Л. 47, 48.

⁶ Там же. О. 1. Д. 124. Л. 2.

⁷ Там же. О. 1. Д. 123. Л. 76/о.

⁸ Там же. О. 1. Д. 123. Л. 26.

дами бревна, возводили крышу — получилась отличная камералка. В первую же свободную минуту, когда можно было прилечь на нары и ничего не делать, Родионов спросил:

— Ну, где у тебя книги лежат? Все осмотрел, не нашел.

— У меня нет их, не беру с собой.

Родионов помолчал в растерянности, вымолвил:

— Так же с ума можно сойти.

Он представить не мог, что люди идут в тайгу без книг, а вьючник используют для хранения теплых вещей.

В студенческие годы Александр купил на всю стипендию четырехтомник Даля. Домой, к Лизавете и Вероне, шел счастливый. Лиза онемела (да любая бы на ее месте дар речи потеряла) — до следующей стипендии целый месяц! Справедливости ради нужно сказать, что молодой отец подрабатывал на институтской кафедре лаборантом, так что какие-то денежки держал про запас.

Родионов, страстный библиофил, трепещет перед книгами, за редкими — гоняется. В советское время, когда книга — лучший подарок и дефицитный товар одновременно, к дверям магазинов «Подписные издания» выстраиваются длинные очереди, голова — в узком магазинном коридорчике, хвост — на улице. Книголюбы добровольно рассчитываются, записывают на ладонях присвоенный порядковый номер, дабы, если придется отлучиться, не потерять место в тесном ряду библиоманов. В те благоденственные времена всеобщей жажды знаний книги не покупают, а достают, выменивают, приобретают на толкучке и «зачитывают». Добыча приносит неописуемую радость, о которой не грех сообщить дневнику, что и делает Родионов: «Завтра у меня будет 4 тома Фасмера!» Прекрасное приобретение, заслуживающее вослицательного знака.

Книжную страсть сына разделяет мама, Татьяна Леонтьевна. И ей случается на редкий томик состояние спустить. В письме к Саше с юга, из санатория, она пишет: «В дороге читала книгу «Очерки о земледельцах», очень понравилась, большое тебе спасибо, много познавательного. Заходила здесь в книжный магазин, посмотрела старую книгу, есть Екатерина II, наверно, возьму. Напиши, что посмотреть надо из книг».

Стопки книг мать отправляет сыну-геологу по почте, а тот обязательно фиксирует событие в дневнике: «Ночь. Из дома прислали книги. Смотрел сытым идиотом на корешки»⁹.

В тисульском сидении Родионов придумывает правила не только для неустойчивых недр природы, но и для своего литературного дела, издает что-то вроде указа: «За поэтом, как за балероном, должен следовать прожектор критики, иначе он останется в полумраке сцены»¹⁰.

И сам лезет под софиты, предлагая литературным знакомцам честно высказываться по поводу его сочинений. Раз просит, то и получает.

«28 октября, 1970. Получил письмо от Соловья. . . Впрочем, а почему бы и нет. Почему бы не получить зуботычину из Кемеровского КИ (книжного издательства — Л. В.). Но последние твои стишки, по мнению Соловья, холодные туристско-многозначительные опусы»¹¹.

Не заставляют ждать пламенные приветы от Вадима Кнеша, брата по поэтическому Томску, а теперь львовского поэта. «Кнеш говорил о стихах, что нет каркаса, вывески, нет характера. Очевидно, он прав где-то в частностях и, может быть, вообще»¹². Еще одно «письмо от Кнеша с ушатом по поводу виршей. Самообольщение не лучший вариант слепоты»¹³.

Самые жестокие розги Родионов выписывает себе сам: «Несколько гнилых свай, на которых держится твое тщеславие, должны быть сожжены на собственном огне. Не следует ожидать, когда это сделают другие»¹⁴.

И еще о себе: «Зажирел мозг». «В твоём мышлении не самостоятельность, а общие места... где?» «Заметил, что при разговоре с незнакомыми людьми я больше рассказываю, чем слушаю и спрашиваю. Это пахнет кичливостью, крохами знания. Слушать надо и спрашивать»¹⁵.

⁹ ГААК. Р-1696. О. 1. Д. 134. Л. 17.

¹⁰ Там же. Л. 14.

¹¹ Там же. Д. 123. Л. 74.

¹² Там же. Д. 135. Л. 44.

¹³ Там же. Д. 134. Л. 86.

¹⁴ Там же. Л. 17.

¹⁵ Там же. Д. 135. Л. 52.

Наблюдая болезненное отношение к критике писателей нынешних лет (вплоть до возгласов: что я вам сделал плохого?), невольно приходится задаваться вопросом: Родионов из другого теста? Критика ему нипочем? Так крепка броня?

Нет, он, как все. И больно, и обидно. Но вида не подает, а внутреннюю истерзанность доверяет дневнику.

«20 октября 1970. Елань. Все, что написано до сегодня, написано не для себя, а с тщеславной надеждой на (неожиданного) читателя, на самом деле очень ожидаемого. <...> Ты пишешь в надежде, что кто-то прикоснется. В то же время трусишь, что прикоснется не тот...

Но отдавать все это на уничтожение либо на усмешку не в моих теперешних правилах. Здесь есть доля меня»¹⁶.

Стрелы критиков долетают, ранят. Он терпит, разбирается с промахами, ибо поставлена цель — состояться в литературе, войти под ее своды с девизом: «Никто, кроме меня». И пусть дело дойдет до нокаута! Значит, слаб, плохо подготовлен. Поднимайся, и снова трудись. Возвышайся. В этом — весь Родионов.

Александр не просто прочитывает рецензии на свои рукописи, а работает с ними по пунктам. Согласен с упреком — напротив абзаца ставит значок плюса, не согласен — знак вопроса.

Постоянное самобичевание (и в быту, и в литературе), изведение скрытых червоточин, подчинение себя дисциплине и правилам сыграли не последнюю роль в возвращении Александра в семью.

В конце мая 1970 года, предварительно посетив Седьмой день поэзии в Томске («где остался в своем тщеславно-пьяном амплу», — дневник контролирует), он переезжает в геологический поселок Елань, к Лизавете и Вероне.

«Сегодня Елань, — пишет в ночь с 21 на 22 мая. — Красивое слово. Дитячьи следы. Играют под управлением Л. Стоковского из «Самсона и Далилы». Очень восточно звучит». Итак, «возвращается ветер на круги своя»¹⁷.

¹⁶ ГААК. Р-1696. О. 1. Д. 123. Л. 71.

¹⁷ Там же. Л. 33.

Ольга Кудзоева

Родилась в городе Сургуте.
Исследователь, переводчик.
С отличием окончила Сургутский государственный педагогический университет (факультет иностранных языков). Занимается исследованием наследия деятелей культуры русского зарубежья. Сотрудник издательской группы «КриптограММа» (Санкт-Петербург — Москва).



«ПОСЛУЖИМ ГРЯДУЩЕЙ СИБИРИ!»

Письма Л. В. Тульпы и Г. Д. Гребенщикова (1926–1930)

Феномен сибирского зарубежья пока еще не изучен в России в полной мере. После революции 1917 года огромная масса наших соотечественников, прежде всего из Сибири, оказалась в эмиграции, за пределами Российской империи. Потеря Родины — это большая трагедия, нарушившая привычный ход жизни. Часть сибиряков обосновалась в Китае, другая — в Европе и США. Имена писателей Георгия Гребенщикова, Евлалии Орловой, Альфреда Хейдока, поэтесс Марианны Колосовой, Марии Волковой и др. постепенно возвращаются на Алтай.

Рядом с теперь уже признанным классиком Георгием Гребенщиковым стоит монументальная фигура Леонида Васильевича Тульпы (1893–1972), который жил и умер в Америке. Он родился 7 ноября по старому стилю в городе Ачинске Енисейской губернии в семье педагогов, окончил Императорскую мужскую гимназию в Красноярске (1903–12). Современному читателю поэт и писатель Тульпа известен мало. Кроме книги «Религиозное образование как воспитание характера» (1935, на англ. яз.), им написаны десятки и даже сотни литературных эссе, изредка печатавшихся

в журналах «Зарница», «Москва» и нью-йоркской газете «Новое русское слово», но больше всего — на ротапринте, для рассылки от имени Общества распространения полезных знаний среди иммигрантов в Америке. Эти эссе по стилю похожи на произведения Льва Толстого, они относятся к области педагогики и морали.

Литературные таланты Леонида Тульпы обогащены и другими видами творчества — живопись, скульптура, иконописное мастерство. Из его эпистолярного наследия становится понятно, что он создавал скульптуры героев многотомной эпопеи Гребенщикова «Чураевы» и бронзовый бюст самого автора романа, по заказу церкви писал иконы святых, среди которых апостолы Пётр и Павел, московский святитель Алексей. Для каменной часовни в русской деревне Чураевке он передал в дар икону преподобного Сергия Радонежского. Изобразительному искусству Тульпа учился в Бостоне, на отделении скульптуры и рисунка при Музее изящных искусств (1921–24), то есть получил классическое художественное образование.

Письма Леонида Тульпы дают возможность нынешнему читателю приоткрыть завесу над его личностью. О нем практически ничего не известно, труды остаются втуне, и лишь благодаря его переписке с близким другом, Георгием Гребенщиковым, удастся разглядеть некоторые очертания жизни сибиряка. Писем самого Гребенщикова сохранилось немного, это выборочные копии из-под копирки, поскольку архив Тульпы пока не найден, хотя в Соединенных Штатах по сей день здравствует внучка от приемной дочери, Лидия Вильямс. Его супруга Карин Тульпа, американка шведского происхождения, умерла относительно недавно, 15 января 1992 года, в возрасте ста лет без нескольких месяцев, и современники при благоприятном стечении обстоятельств могли бы еще наследовать упущенную память.

Переписка двух писателей-сибиряков достаточно объемна, около 150 писем. Как указано выше, центр тяжести смещен к письмам Леонида Тульпы. Из переписки проясняется история его дружбы и взаимоотношений с Гребенщиковым. Познакомились они заочно, по переписке, и лично встретились только через два года в Чураевке. Летом 1924-го поэт Константин Бальмонт написал Тульпе, чтобы тот «снесся» с Гребенщиковым, который по приглашению

знаменитого художника Рериха приехал в Америку, в музей его имени, работать директором книжного издательства «Алатас» и уже два месяца как находился в Нью-Йорке. С Бальмонтом оба сибиряка были хорошо знакомы. Тульпа, будучи студентом Московского университета, давал домашние уроки дочери поэта Мирре в 1915 году. А Гребенщиков встретился и подружился с Бальмонтом в Париже, в доме Буниных, в январе 1921-го.

Тема первых писем в переписке, конечно же, посвящена Сибири. К тому моменту Леонид Тульпа уже читал романы Гребенщикова «Братья Чураевы» и «Былина о Микуде Буяновиче». Оценив по достоинству эти произведения, он готов заняться их распространением среди эмигрантов, отказываясь при этом от «всякого процента или вознаграждения». Одновременно предлагает свои услуги как переводчика и редактора, чтобы «Былина» быстрее вышла в США в английском переводе. Пишет в письме Гребенщикову: «Интерес к культурной России в Америке есть. Нужно показать им, какие есть сибиряки. Они думают, что мы все каторжане и живем в снегу» (02.04.1925). Осенью 1925 года Тульпа начинает читать американцам цикл лекций о русской культуре и всегда не преминет упомянуть о книгах своего земляка.

Именно Тульпа побуждает Гребенщикова взяться за лекционную работу. Об этом он постоянно напоминает в своих письмах. Первые лекции сибирского писателя прошли в Нью-Йорке с огромным успехом, на них собиралось от четырехсот до семисот, а иногда и до тысячи человек из числа русских эмигрантов. Представить подобную аудиторию в наше время просто невозможно, хотя поэты-шестидесятники и собирали подобные залы в Политехническом музее в Москве. Темы лекций красноречиво говорят сами за себя: «Европа или Азия?», «Всемирная идея русской нации», «Сибирь — страна великого будущего», др. Через все выступления красной нитью проходит сибирский мотив. Лекционный тур по Америке имел первоначальное название «Чудеса Сибири».

После девяти месяцев переписки встреча земляков стала почти реальной. Тульпа зовет Гребенщикова приехать к нему на Пасху в городок Ратленд, расположенный в холмистой местности недалеко от Бостона. Однако в середине апреля 1925-го Георгий Гребенщиков оказался в 75 милях от Нью-Йорка, в Саутбери, куда его

пригласил славить Христа писатель Илья Львович Толстой, сын великого классика. Поездка стала судьбоносной, поскольку как раз тогда было положено начало строительству будущей русской деревни Чураевки, где позже неоднократно бывал Тульпа. Именно в Чураевке летом 1926 года и произошла его первая встреча с Гребенщиковым. Общение друзей воочию имело далеко идущие последствия, их творческий союз укрепился. Вскоре Тульпа посвятил своему «старшему брату» очерк «Счастье», предпослав ему строки, полные восхищения: «Могучему сыну взнесенного Алтая» (31.07.1926).

Леонид Тульпа, будучи сам писателем, начинает влиять на творческие планы собрата по перу. Он предлагает Гребенщикову сюжет романа, который фактически повторяет жизненный путь писателя, начиная с Чураевки. Линия судьбы в общих чертах, но предельно точно, протянута в будущее. В замысле произведения много событий, впоследствии осуществившихся, но финал романа выглядит лишь красивой мечтой.

Главный герой, прототипом которого является Георгий Гребенщиков, занимается возведением дома и продажей земли, издает журнал и газету, строит типографию и книжный склад. Он привлекает к своему делу лучших писателей и создает организацию для торговли книгами по всему миру, названную Обществом распространения знаний. Это необычная комбинация идеалиста, подвижника, искателя истины и в то же время делового человека, который в итоге становится миллионером. Проходит несколько лет, и произведения писателя уже переведены на многие языки мира. Его имя горит, как выражается Тульпа, «электрическими огнями по ночам». Даже больше того: «Оно напоминает. Оно будит. Оно зовет вперед и ввысь» (10.10.1926). Однако, невзирая на славу и богатство, душа писателя остается прежней и не тронута тленом материи, не поглощена золотым тельцом. Она все так же чиста, как в те дни, когда ему приходилось голодать и скитаться по ночным трущобам. Голос писателя заглушает шум типографских машин, ибо он — гений вечной жизни.

Биография писателя Георгия Гребенщикова иная и не похожа на литературную романтику. Широкому читателю она уже хорошо известна. Что касается Леонида Васильевича Тульпы, то его

жизненный путь пронизан идеалистическими убеждениями, верой в христианские идеалы и победу сил добра над злом. В качестве темной силы для него выступают большевики. С ними он борется на митингах, публикует свои очерки на русском и английском языках, провозглашая тем самым свет правды вне России. А правда состоит в том, чтобы срывать маски с палачей, тогда Родина станет свободной. Надо сказать, такие максималистские политические лозунги Тульпы его друг Гребенщиковов вовсе не разделял. Их напряженный диалог часто выплескивается на страницы писем, отражая, как в зеркале, весь спектр эмигрантских мнений.

Унаследовав от отца ремесло педагога, Леонид Тульпа проявил себя в Америке на ниве образования. Он преподавал общественные и естественные науки в разных учебных заведениях, среди них: Русско-Американский институт в Кембридже, Школа религиозного образования и социального обеспечения при Бостонском университете, общеобразовательная школа «Derby Academy» (штат Массачусетс), летний лагерь для детей «Mishe Mokwa» (штат Нью-Гемпшир). Кроме того, сам организовал несколько частных школ, занимая в них пост педагога и директора одновременно. Последние годы своей жизни, вплоть до смерти, работал в Подготовительной школе Беркли, в городе Тампе (штат Флорида). Длинный список учебных заведений и школ только подтверждает подвижнический характер Тульпы и его высокую просветительскую миссию.

В жизни Леонид Тульпа проявляет себя убежденным педагогом, распространяя свое наставничество на близких друзей, в том числе на Гребенщикова, советует ему, что и как лучше сделать. Он вовлекает Георгия Дмитриевича в деятельность основанного им в декабре 1926 года Общества распространения полезных знаний среди иммигрантов, которое имело образовательные задачи. Методы работы Общества заключались в бесплатной рассылке лекций (листовок с лекциями) среди эмигрантов. Иногда проспекты и листовки Гребенщиков печатал в Чураевской типографии. Тематический охват лекций был широким — от социально-политических и философских вопросов до нравственных основ жизни и даже советов по устройству эмигрантского быта. Руководитель ставит перед собой насущные жизненные цели: «Заинтересовать в духовных вопросах темную, неподвижную массу, поднять ее

культурный уровень, отвлечь ее от самогона и карт» (04.09.1926). Общество функционировало на добровольные пожертвования, при этом Тульпа не жалел и собственных средств. За первый месяц существования Общество разослало более трех с половиной тысяч листовок. Оно просуществовало более семи лет и прекратило деятельность, когда русская эмиграция стала постепенно растворяться в американской массе.

И все-таки мечты о Сибири и возвращении на Родину никогда не угасали в сознании сибиряков. Напряженная жизнь в эмиграции, борьба за существование, тяжелый труд ради куска хлеба не могли затмить Светлый образ России. Эмигранты первой волны в основном были другими, неизменными на уют и чужой кров. Эти мысли находят отклик в письме Тульпы к его другу и земляку Гребенщикову: «Я хочу написать статьи о нашей работе среди иммигрантов и посылать свои стихи во все страны света. Послужим грядущей Сибири! Послужим издалика, ибо слово, подобно свету, не ограничено пространством, но проникает через все границы и говорит сердцам. Строй же свою Чураевку. Да услышим голос твоего колокола. Зови народ на молитву» (04.07.1927).

Публикуемая переписка Леонида Тульпы и Георгия Гребенщикова — это малая часть большого эпистолярного наследия сибиряков. Она хранится в Архиве Центра по изучению истории иммиграции при университете штата Миннесота (Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota); коллекция Георгия и Татьяны Гребенщиковых (коробка 42, папки 1 и 2; коробка 3, папка 7). Автор публикации выражает благодарность руководству архива за разрешение на использование материалов.

Ольга Кудзоева

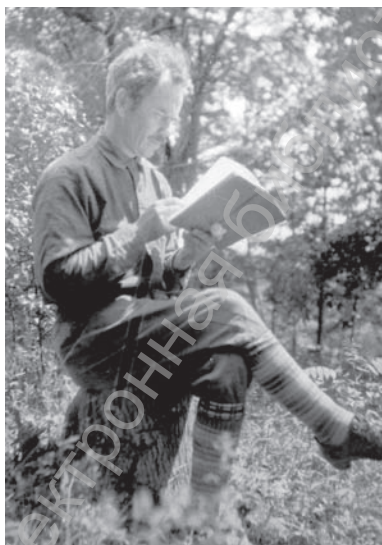
ИЗ ПЕРЕПИСКИ Л. В. ТУЛЬПЫ И Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВА

1. Тульпа — Гребенщикову

10 июня 1926 г.

Благодарю Вас, дорогой друг, за Ваше приглашение приехать к Вам в Ваш скит¹ побеседовать о делах и увидеться в первый раз. Я приеду с великим удовольствием, только не могу еще сказать когда: не на этой неделе, во всяком случае, но скоро. У меня сейчас есть срочная работа по отправке лекций-листочков, а также скульптурная работа: надо выполнить заказ вовремя. Но все же на днях освобожусь и отправлюсь в Ваши дебри, в избушку на курьих ножках.

Рад, что у Вас есть «прекрасная идея, вполне осуществимая, хотя и необычная». В Америке, как нигде в иной стране, необыч-



Георгий Гребенщиков,
предположительно 1927 г.

ные и прекрасные идеи осуществляются. Здесь надо делать большие дела. Масштаб страны того требует. В Европе тысячи русских интеллигентов сидят у моря и ждут погоды, не пуская корней в чуждую почву. В Америке же для всех есть широкое поле. Нужно изучать эту страну, ее задачи момента, надо чувствовать пульс ее жизни.

В частности, положение 800 000 русских, живущих в Америке, составляет часть американской проблемы. Известно колоссальное невежество русских иммигрантов, их незнание Америки и всего прочего. Американцы понимают опасность



Леонид Тульпа, 1926 г.

темноты. Поэтому всякая просветительная работа среди иммигрантов находит поддержку среди американцев. Эта просветительная работа представляет собой широкое поле, на котором стоит поработать.

Работать придется на целине — все поросло сорными травами и кустарником — терном и «дубьем». Но нет такого поля, которое нельзя было бы вспахать и удобрить.

Самое ценное, что можно развить среди русских, это самодеятельность.

В этом отношении «Зарница»² — великое достижение.

Русским надо пустить в Америке могучие корни. Даже когда в России будет порядок, в Америке должна существовать сильная русская колония, дабы русская молодежь могла приезжать сюда учиться. Должны для этого быть по всей Америке точки опоры. Эти русские центры должны связать воедино лучшее в Америке и России. Америка как целая великая нация — благородная, мужественная и христианская. Глубоко ошибочно воображать, что Америка подобна золотому тельцу. Америка — орел, обративший очи к солнцу.

Во всем мире есть две громады, которым принадлежит власть, и счастье, и слава в будущем, — Россия и Америка.

Мы, интеллигентные русские, должны понять это и работать в области образования и воспитания русской массы в Америке, а также в области ознакомления американцев с сущностью русской души.

Ну, пока, до свидания.

Привет Татьяне Денисовне³ от моей жены⁴ и меня.

Ваш Леонид Тульпа

P. S. Пожалуйста, подтвердите получение этого письма, а также сообщите Ваш подробный почтовый адрес в Southbury.

Публикуется по автографу. — 2 л. с оборотами. Архив Центра по изучению истории иммиграции при университете штата Миннесота (Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota); Коллекция Георгия и Татьяны Гребенщиковых, коробка 42, папка 1. На бланке письма адрес: 64 Iffley Road, Jamaica Plain, Mass.

1. Скитом Л. В. Тульпа (ЛВТ) называет дом Гребенщиковых в Саутбери (Southbury), где было положено начало строительству поселения эмигрантов, названного впоследствии русской деревней Чураевкой. Вместе с Г. Д. Гребенщиковым (ГДГ) ее основателем считается И. Л. Толстой. К середине 1930-х колония насчитывала до 40 поселенцев и их семей.

2. Журнал «Зарница» (Нью-Йорк) издавался с 1925 по 1927 под ред. И. И. Дзиоменко, всего вышло 18 номеров, с иллюстрациями Николая Рериха и Давида Бурлюка. С журналом в качестве автора активно сотрудничал ГДГ.

3. Гребенщикова, Татьяна Денисовна (в девичестве Стадник, по первому мужу Давыдова) (1892–1964), вторая жена писателя Г. Д. Гребенщикова (с 1917). Родилась в Тифлисе. Получила образование в частной гимназии в Харбине. До начала Первой мировой войны работала в компании «Зингер» в Хабаровске. Во время войны состояла на службе в Управлении уполномоченного Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам при XI армии в качестве помощницы делопроизводителя и машинистки (1917–18). В 1920 вместе с мужем эмигрировала в Константинополь, в 1921 — в Париж, в 1924 — в Нью-Йорк. Помогала вести дела книгоиздательства «Алатас». Преподавала в Южном колледже (Лейкленд, шт. Флорида) основы типографского дела и возглавляла типографию «Дикси Пресс».

4. Тульпа, Карин Андерсон (Tulpa, Carin Anderson) (1892–1992), жена Л. В. Тульпы, американка шведского происхождения; помогала мужу на ниве школьного образования, была одним из директоров частной школы «Evergreen Manor» в городе Саут Вудсток, шт. Коннектикут, США.

2. Тульпа — Гребенщикову

6 сентября 1926 г.

Дорогой Брат,

В одном из последних Ваших писем Вы написали, что думаете, что писатели русские останутся равнодушны к моему призыву и не станут писать для нас. <...> Но это не значит, что я намерен отступить. Наоборот. Я прошу Вас прислать мне адреса всех известных Вам русских писателей. Я намерен сам приняться за них. Я буду беспокоить их письмами, как медведей в берлоге, пока они не напишут для нас хотя бы четыре странички. Они от того не похуждеют. Наоборот, им же будет лучше.

Дело наше правое. И не благотворительности я прошу, а предлагаю выгодное дело для наших писателей. Они неизвестны массам народа. А потенциальных читателей в Америке так много, что они могли бы дать заработок всем русским писателям, покупая их книги.

Это верно, что всякий серьезный писатель есть пророк и учитель, он зовет к свету и правде, учит любви. Но не надо забывать деловой стороны жизни. Писатель пишет книги не для того, чтобы они лежали на полках книжных магазинов и на складах в пыли и без пользы. Нечего гордиться тем, что пророку приходится голодать и ходить в дырявых штанах. Можно быть пророком и носить хорошо выглаженные брюки и недырявые ботинки. Не так ли?

Нет, надо добиться того, чтобы у каждого писателя был хороший, красивый домик, построенный на живописном месте. Чтоб кругом шелестели деревья и пели Божии птицы. Чтоб светлячки мерцали для него по ночам. Чтоб не заботился пророк о том, где бы достать материи на заплату и чем бы заплатить за починку сапог. Надо добиться того, чтобы умственный труд ценился выше волевой силы. Но сидя на чердаках пыльных городов и не принимая никаких мер, этого не добиться.

Вот есть готовая организация², испытанная на деле, имеющая связь с массами читателей. Писатели должны воспользоваться случаем, должны пойти нам навстречу. Это в их собственных интересах. Поэтому жду адресов всех русских писателей, известных Вам.

Ваш Леонид Тульпа

Публикуется по авторизованной машинописи (АМ). — 1 л. На бланке: «Society for Distribution of Useful Knowledge Among Immigrants in USA» (далее — на бланке Общества).

1. ЛВТ говорит об обращении к видным русским писателям-эмигрантам и привлечении их к деятельности основанного им Общества распространения полезных знаний среди иммигрантов в Америке.

2. Имеется в виду вышеупомянутое Общество, прим. 1.

3. Гребенщиков — Тульпе

12 сентября 1926 г.

Родной и могучий брат мой,

Шлю тебе стрелу моей силы и любви и священного обещания: Да, наш путь с Тобой Светел и Един и должен быть закреплен сотрудничеством в самом широком и глубоком значении этого слова.

Последними твоими письмами ты просверлил ко мне гранитные толщи общей тупости, даже удушавшей и меня. Ты открыл мне глаза настолько широко, что я пойду с тобою Неразрывно. И, не тратя много слов, скоро перейду к делу. Жди моих новых лекций. Это будет тебе лучший мой ответ на то, как мы с Т. Д. (Татьяной Денисовной — *ред.*) оценили твою силу и твою Светлую Душу. Твое письмо к Т. Д. — есть закрепление еще одной победы: Ты приобрел могучую сотрудницу. Письмо твоей жены¹ — знак великой благодати — мы с Т. Д. приобрели прекрасную сестру и на нашем даже плохом английском языке сумеем ответить ей о наших чувствах.

С 5 <сентября> по сегодня мы были в Нью-Йорке. Наша судьба там радикально перестраивается², и чуем мы, что путь наш мимо города и что проповедь моя должна звучать отсюда, из чистых полей и лесов все более любимой и великой Америки.

Сейчас прочли ваши письма и решили написать вам, не теряя ни одной минуты, ибо в словах твоих писем чуем Зов Самого Бога и можем ли не радоваться спешить на этот Зов.

И многие уже подготовленные мысли наши вольются в реку твоего дела, и я чую, что Рупор твой к народу — есть для меня великое благословение Божие. Одна у меня забота: быть достойным его и тебя.

Переведи это письмо жене твоей и закрепи: нас четверо теперь в твоём, нет, в нашем Светлом общем деле. И ты с нами в наших делах. Вот как оно поворачивается. Только не будем надрывать-ся в криках радости: тихо и благоговейно примем посланный нам свет действенного братского Единения.

В духе и труде с тобою.

Г. Д.

Публикуется по копии (машинопись, отпуск). — 1 л.

1. ГДГ упоминает письмо Карин Тульпы, датированное условно 6 сентября 1926, в котором она благодарит Гребенщикова за теплый прием ее мужа во время посещения им Чураевки.

2. ГДГ состоял директором книгоиздательства «Алатас» при Музее Николая Рериха и осенью 1926 принял решение о переселении из Нью-Йорка в деревню Чураевку, расположенную в 75 милях от города.

4. Тульпа — Гребенщикову

25 сентября 1926 г.

Дорогой Брат,

Сегодня, бредя по заповедному парку, что около нашего дома¹, я увидел пробежавшую лисицу. Пройдя еще с 15–30 минут, увидел другую. Эта часть парка совсем дикая — валежник, скалы, заросли. Вот красота-то!

Сегодня здесь жарища и влажность. Гроза будет, либо ливень. Листья желтеют. Как постройка идет? Счастливый Вы человек. Счастливы те, кто воплощает мечту в жизнь. Достойны жалости мечтатели бессильные... Вот я по привычке запустил «Вы» вместо нашего братского «ты». Это потому что «ты» говорю лишь матери, да брату, да Бальмонту², да вот тебе...

В наш век роста материалистических сил представители силы духовной должны воспользоваться колоссальным опытом людей дела для пропаганды своих идей — идей любви, труда, умственной культуры. Так же как дельцы добились того, что миллионы людей знают, что такое «Ivory soap» или «Palmolive soap»³, также мы должны добиться того, чтобы имена Гребенщикова, Бальмон-та, Куприна, Бунина и других были известны. И не только извест-

ны, но и любимы. Гораздо легче доказать, что сии имена значительнее имен Форда или Рокфеллера, ибо нет силы более властной, чем сила благородных идей и порывов ввысь. Но... надо применять к делу практические методы, испытанные на опыте. У великих писателей ума не меньше, чем у Форда или Рокфеллера. Только нет практичности. Только нет желания покорить людей силой своего духа. А это покорение необходимо. С темнотой, пошлостью, вялостью, мелочностью надо бороться. Народ погряз в этом болоте. Народ ждет властного голоса.

Можно возразить мне, что Рокфеллер и Форд продают вещи материальные, необходимые, потому на них и есть спрос. На духовные же вещи найти потребителей труднее. Но это не так. Чем сильнее материализм, тем больше, в силу реакции, жажда духовного.

Только надо это духовное приблизить людям и показать его — и не раз, и не два, а продолжать показывать его непрерывно, напоминать о нем неустанно. На опыте всех деловых предприятий доказано, что только тогда выгодно объявлять, когда объявления непрерывно появляются, напоминая людям о себе. Надо сделать так, чтобы рабочий фактически не мог забыть имен великих писателей и их призывов в свету. Как в России все знали гильзы Катыка⁴, так все должны знать книги великого писателя. Гильзы Катыка были хороши. Он не лгал, восхваляя их. Он считал своим долгом снабжать людей своим действительно хорошим продуктом. Всякому свое. С какой стати было ему молчать о своем достижении? Пусть знает мир.

Машины угрожают человеку. Материалистические вещи грозят поглотить человека. Разве люди духа *имеют право молчать*? Разумно ли драпироваться в тогу величия и говорить: «Нет, я буду молчать, пусть народ сам ко мне идет учиться»? Да, друг мой, как народ узнает о тебе, коли тебя за вывесками о папиросах и мылах не видать? Нет, подними свой голос превыше голоса газетчиков и торговцев папиросами. Найди свои особенные пути к человеческому сердцу. И это нетрудно. Ведь папиросы и мыла не для сердца. Для сердца — только люди духа. А их-то и не слышать. Ибо методы их устарелие.

Вот наше Общество нашло метод. Практичен. Надо ему следовать и развивать его. И разовьем...

Видишь — всё об одном мои мысли. В этом — залог успеха. Вся душа здесь.

Леонид Тульпа

Публикуется по АМ. — 2 л. На бланке Общества. Начало дано в сокращении, ЛВТ цитирует полностью письмо русского эмигранта Г. Д. Севенюка из Хартфорда (шт. Коннектикут) с предложением Гребенщикову прочитать цикл лекций о Сибири.

1. ЛВТ имеет в виду свой дом, расположенный в Ратленде (Rutland, Mass.), в холмистой местности на северо-востоке США.

2. Бальмонт, Константин Дмитриевич (1867–1942), русский поэт-символист, писатель, переводчик; видный представитель Серебряного века в России. В эмиграции жил во Франции с 1920. За рубежом дружеские отношения поддерживал с ЛВТ и ГДГ.

3. Названия фирм, известных по маркам мыла. В тексте письма эти названия приведены в русской транскрипции.

4. Катык, Абрам Ильич (1860–1936), московский купец и фабрикант, основатель Торгового дома «А. Катык и К°»; в 1890 открыл знаменитую фабрику по производству папиросных гильз.

5. Тульпа — Гребенщикову

22 октября 1926 г.

Дорогой Брат,

Как подвигается постройка? Получил ли ты мое письмо с советом разослать циркулярные письма во все русские общества (просветительные организации) с предложением читать для них лекции на разные просветительные темы. Гонорар 25 долларов за лекцию. Мне думается, что это даст тебе приличный заработок и в то же время сделает твое имя еще более известным, приблизит тебя к народу.

Я могу напечатать циркулярное письмо. Только пришли его текст и свою бумагу с твоим адресом на ней. Циркуляр должен дать список твоих тем, должен указать размер гонорара за одну лекцию или за курс лекций, этот курс лекций — дельная идея, мне кажется. Какой-нибудь Народный Университет или общество, вроде Науки, может и должно бы заинтересоваться этим предложением.

Твой список тем для лекций должен быть расширен за пределы Сибири. Ты можешь говорить о многом кроме нашей могучей родины. Русская литература — огромная область для тебя. После лекций — вопросы. Это дело надо поставить на широкую ногу — разослать множество циркуляров. Вот путь для начала создания твоей независимости. Земельное дело надо тоже продолжать. Это, конечно, летняя работа, а лекции — зимняя. Одно другому не мешает. С землей тоже надо действовать на широкую ногу. Можно разослать весной циркулярные письма по твоим адресам с предложениями земли в красивой местности. Лекции. Земельное дело. Также полезно посылать статейки в газеты и журналы — для постоянного напоминания людям о себе. Реклама — необходимое условие успеха *всякого* дела.

В Бостоне недавно я видел огромные афиши, выпущенные Федерацией церковью города Бостона: «Идите в церковь в воскресенье, исполните ваш долг перед Богом». Такие напоминания имеют силу. Многие объявления Ничего не пытаются доказать. Они просто утверждают известный факт. Интересно психологическое влияние таких утверждений. Люди постепенно начинают верить этим утверждениям.

На рынке уже есть множество разных папирос. Появляется новый сорт папирос, ничем не лучший уже имеющихся в продаже и заслуживших признание. Появляется множество объявлений: новые и самые лучшие папиросы. Аромат таких-то папирос превосходит все ожидания и т. п. Казалось бы — чем тут привлечешь публику, уже удовлетворенную существующими папиросами? Ан, глядишь, новая папироса завоевывает себе почетное место.

Насколько же легче пропагандировать действительно хорошие книги? Каждая новая хорошая книга есть нечто действительно новое и ценное.

Эти мысли необходимо не только разработать теоретически, но и провести в жизнь: сделать писательское дело одним из самых прибыльных дел, потому что это только справедливо, чтобы люди интеллекта зарабатывали больше людей физической силы. Потому что миру угрожает опасность материализма — опасность быть поглощенным развлечениями поверхностного характера, опасность увлечения вещами.

Только мыслители-философы, писатели, художники, скульпторы, музыканты, воспитатели — люди духа — могут поднять мир. Их голос должен властно звучать.

Но никто не позаботится о них, никто не станет толкать вверх и вперед дело духа — *сами* люди духа должны взяться за это дело. Надо, чтобы влияние поэта, новеллиста, проповедника, скульптора было больше влияния тех, кто делает машины. Мир должен склониться перед святынею духа. Но самое-то главное тут не в том, чтобы сделать людей духа материально обеспеченными. Самое главное в том, чтобы *слова людей духа звучали слышно всему миру*.

Мне так ясно, что такая организация должна быть создана, мне так ясно, что сделать это вполне возможно. Следовало бы создать федерацию людей духа — международное учреждение, объединяющее всех писателей, учителей, философов, художников, музыкантов всего мира. Эта федерация должна поднять свой голос против всего того зла, которое имеется в мире. Она может предотвратить войны и другие виды насилия.

Эта федерация должна располагать огромными средствами для осуществления своего влияния. Пресса должна находиться не в руках людей денег, а в руках людей духа. Это привело бы, в конце концов, к власти людей духа над миром.

А сейчас — что такое писатели, художники, музыканты, воспитатели — где их влияние? Они разрознены. Какие-нибудь рудокопы более объединены, чем они. Разве это не дико? Ведь Рахманинов, Падеревский¹, Шаляпин в звуках говорят о той же святой Правде, о которой говорил Толстой, Тургенев, а еще раньше — величайший учитель, светило мира, звезда всех веков — Христос. Почему же все эти люди, зовущие к одному, не объединены в своих усилиях и устремлениях? Здесь есть огромная ошибка людей духа — их индивидуализм. Кто-то должен начать святое дело объединения духовных сил мира.

Давай объединим всех русских писателей — для начала. Спасем их от гнета нужды. Сделаем их голос слышным всему миру. Путь для этого: приобретение своей земли (есть твоя Чураевка в Коннектикуте), приобретение своей типографии сперва для печатания малых книжек для народа для завоевания читателя, расходящихся по всей Америке и другим странам, сие дело надо сделать

дающим прибыль. На эту прибыль создать большую типографию для печатания книг русских писателей на самых выгодных для них условиях — для того чтобы они никому другому не поручали печатания книг. Распространение этих книг при пользовании огромным листом — списком русских, который непрерывно уже растет и у тебя, и у меня. Продажа книг непосредственно читателям. Устройство лекций: лектора — русские писатели. Целая стройная система. Мощная организация. Начать надо с малого. Вырастет постепенно.

Твой Леонид Тульпа

Публикуется по АМ. — 2 л. На бланке Общества.

1. Падеревский, Игнаций Ян (1860–1941), польский пианист, композитор, дипломат, государственный и общественный деятель; занимал пост премьер-министра и министра иностранных дел Польши (1919). Входил в состав Польского правительства в Лондоне (1940).

6. Тульпа — Гребенщикову

16 февраля 1927 г.

Дорогой Брат мой,

Пишу второпях. Занят превыше меры. Это только тебе я так часто могу писать, ибо знаю, что то, что ты думаешь и делаешь, — значительно и будет иметь последствия не только для тебя, но и для России.

Относительно этой выставки и о друзьях С. С. С. Р. скажу: у большевиков много сторонников и единомышленников в Америке. Они состоят из капиталистов того типа, которому все равно, с кем иметь дело, лишь бы деньги делать, из членов отдела большевистской партии в Америке, из людей, слыхавших кое-что о большевизме и решивших, что это нечто светлое. Что изучать советскую Россию надо, я согласен и делаю это. Я также изучаю большевизм (коммунизм) в Америке. Есть обширная большевистская литература на 22 языках, выходящая в Америке. Это чрезвычайно интересное явление. Я изучаю его как ученый, без злобы. Я понимаю многое, что ты говоришь об эмигрантах из России, и разделяю с тобой многое.

Быть может, если б мы побеседовали лично и не торопясь, то нашли бы много общего в наших взглядах. Часто двое подходят к одному и тому же вопросу с разных сторон, но решают его одинаково — в результате. Если ты будешь изучать Россию и деятельность большевиков основательно, то, понятно, правду найдешь. Если будешь изучать также и Христово Евангелие, то верю, что избереешь верный путь и оставишь яркий след в русской литературе. В душе моей — тихий свет — отражение света, почерпнутого в Евангелии. С этим светом злоба и нетерпимость не уживаются. Поэтому я чувствую биение твоего любящего сердца, принявшего в себя весь мир и желающего пролить свет любви для всех праведных и неправедных. Мир тебе! Господь да пребудет с тобою!

Твой Леонид

Листовки разослал почти все без остатка. Что наскребу — пошлю. Спрос на листовки таков, что работаю, как раб, а все не могу всех удовлетворить.

Привет Татьяне Денисовне от всего дома нашего.

Публикуется по автографу. — 1 л. На бланке Общества.

7. Тульпа — Гребенщикову

20 марта 1927 г.

Дорогой Брат,

Давно не получал вести о тебе. Здоров ли ты? Эти дни были днями кипения и борьбы. Был митинг, устроенный Обществом Foreign Policy Association¹ — крупное американское учреждение. Темой митинга было «Russia's Challenging Experiment»². Докладчик был Louis Fischer³ (американский еврей, побывавший в России). Он рекламировал и восхвалял большевизм и большевистское правительство. <...>⁴.

Между тем, большевистские газеты, напечатанные в России (напр. «Экономическая жизнь»), которые я здесь получаю через американцев, рисуют хаотическое состояние промышленности, торговли и народного просвещения.

Например, согласно докладу Орджоникидзе⁵, на съезде профсоюзов в Москве 13 дек<абря> 1926 г. Комиссариат путей сообщения (отдел жел<езных> дорог) представил отчет за прошлый год на 18 000 страниц. Этот отчет стоил 9 000 000 рублей. «Сахартрест» представил отчет, который весил 770 фунтов (американских). Где и когда на свете было такое безобразие? Большевизм есть труп, пытающийся управлять живой Россией. Сокровища, награбленные в церквях, сокровища, украденные из музеев, распроданы и распродают. Куда идут деньги? — На пропаганду, на содержание отрядов «особого назначения», <в> которых 250 000 человек. Ужас...

А как идут твои дела? Откликнись. Недавно я получил письмо от Бальмонта. Он бьется по-прежнему. Скверно. Баудич⁶ собирает для него деньги. Рубакин⁷ прислал мне очень хорошее письмо, также Чириков⁸ и супруга Б. Зайцева⁹ (за отъездом ее мужа на вакацию на юг Франции).

Для того чтобы ночь не поглотила мир, надо работать, гореть и зажигать. Пусть в России темно и страшно, поборники света вне России должны говорить правду о России, срывать маски с палачей и показывать, где есть правда в России.

Час настанет — и будет большевизм свергнут. И народ получит, наконец, свободу. Но мы здесь, в Америке, можем помочь русским и американцам нашей просветительной работой.

Большевизм, с его проповедью ненависти, есть не русское, а международное зло. Поэтому бороться против большевизма надо и здесь, и во всем мире. Вот это занимало мои мысли эти дни. Как напряжена жизнь! Как она поглощает нас!

Но мысль о тебе не замирала. Я помню о тебе, и сердце мое с тобою.

Жена моя кланяется Татьяне Денисовне и тебе.

Твой Леонид Тульпа

Публикуется по автографу. — 3 л. с оборотом. На бланке Общества.

1. Foreign Policy Association (англ.) — Ассоциация внешней политики; некоммерческая культурно-образовательная организация, основанная в 1918, цель которой состояла в том, чтобы развивать представления

американских граждан о мире и внешней политике США. Существует по настоящее время.

2. «Смелый эксперимент в России» (англ.).

3. Фишер, Луис (Louis Fischer, 1896–1970), американский журналист, публицист. Автор книг «Советы в мировых делах» (1930), «Жизнь Махатмы Ганди» (1950), «Сталин» (1952), «Жизнь Ленина» (1964).

4. Опушен фрагмент письма, где ЛВТ подробно описывает участников и место проведения митинга.

5. Орджоникидзе, Григорий Константинович (1886–1937), революционер, советский государственный и партийный деятель.

6. Баудич, Винсент Ярдли (Bowditch, Vincent Yardley, 1852–1929), всемирно известный американский врач, специалист по легочным болезням; казначей Общества распространения полезных знаний среди эмигрантов в Америке.

7. Рубакин, Николай Александрович (1862–1946), русский писатель, книговед, библиограф, популяризатор науки. Жил в эмиграции в Лозанне.

8. Чириков, Евгений Николаевич (1864–1932), известный русский писатель, драматург и публицист. Жил в эмиграции в Париже.

9. Зайцев, Борис Константинович (1881–1972), русский писатель и переводчик, один из последних ярких представителей Серебряного века. В эмиграции — во Франции. Жена — Вера Алексеевна Зайцева (1878–1965).

8. Гребенщиков — Тульпе

25 марта 1927 г.

Дорогой Брат,

Мне очень прискорбно, что последнее твое выступление на митинге и в газете приняло ярко политическую окраску. Мне кажется, что мы, занятые чисто просветительной работой, которая должна быть направлена главным образом к единственно живому, истинно чуткому и чающему радости народу там, в России, можем только помешать себе и нашему делу, если заградим себе путь в новую Россию. Несомненно одно, что мы о России и о происходящем там процессе знаем очень мало, кроме того, наша «борьба»

с большевизмом отсюда, где вся русская эмиграция в массе безусловно разлагается, мне представляется просто смешной. Впрочем, я не смею давать тебе советов, но за себя должен сказать, что твоих выступлений, подобных только что происшедшим, я совершенно не разделяю. Мне очень хочется оградить тебя от последствий, которые сейчас мы даже не можем и предвидеть. Я чувствую, что я должен был тебе это сказать. По содержанию этого письма посоветуйся с твоей женою, и я уверен, что женское сердце лучше меня подскажет тебе осторожность именно в интересах нашего главного, огромного дела.

Публикуется по копии (машинопись, отпущ). — 1 л. Написано на обороте письма ЛВТ от 20 марта 1927.

9. Тульпа — Гребенщикову

15 июня 1927

Дорогой и любимый Брат,
Начнем стихом, только что мной написанным:

ОЯ

Закат, весь исполненный зноя,
На круче застыл тарантас.
Внизу вьётся тихая Оя.
Вечерний, молитвенный час.
Коневник растёт над дорогой,
Шиповник алеет вон там,
И линией чёткой и строгой
Утёса возносится храм.
Сгущаются синие дали.
В ущелья спускается тень.
Но небо лазурной эмали
На высях, где зрим ещё день.
И снежные выси залиты
Алеющим светом зари.
Плащом огнецветным покрыты
Внесенных Саян алтари.

Это воспоминание — о виденном в 1917 году в Минусинском уезде. Дорога была дальней. Кони стали отдохнуть на круче. И долина внизу погружалась в сон. Вдали горели Саяны альпийским горением. И какое имя: «Оя». Какая драгоценность для поэта. Две самых певучих гласных соединились, чтобы дать ей имя. Нет имени нежней. Сибирь еще ждет своего великого поэта. Он найдет в ней неисчерпаемую сокровищницу. Ей нужен мастер, подобный Бальмонту, великий живописец слова...

Все эти дни моя дочь, а затем жена были больны чем-то вроде гриппа. Я был и сестрой милосердия, и поваром, и буфетным мужиком, и чем еще я не был. Только недавно больные поправились, и я, наконец, могу заняться проверкой переводов твоих произведений. А ошибок довольно. Также и с лекциями я запоздал, и надо торопиться. Вот этак вся жизнь проходит в спешке. И смерть придет — помирать некогда будет. На очереди много работы — скульптурной, живописи, поэзии, лекций. Хорошо, если бы можно было жить 300 лет. Многообразны обязанности человека, живущего ответственной жизнью. В душе много светлиц — и в каждой надо побывать, и каждую надо держать в чистоте, как храм. А то пыль накапливается, и паутина застилает окна, и свет не проходит в душу.

Думаю о тебе часто. Здоров ли ты. Как работа подвигается. Как здоровье Т. Д.¹. Продал ли еще земли. Теперь, летом, надо бы в этом направлении действовать энергично.

Получаешь ли газеты из Европы. Если да — то, пожалуйста, сообщи адреса приличных газет. Каковы твои планы, и каковы шаги по пути осуществления этих планов? Как дела с созданием своей типографии в Чураевке? Двигается ли дело создания колонии в Чураевке...

Читаю об ужасах в России: о красном терроре. Много невинных погибнет от руки трусливых правителей СССР.

Какой это страшный сон — большевизм. Это труп, держащий в объятиях живое тело России. Но верю в конечное торжество правды. Россия вернется к извечным истокам мира, любви и прогресса — к христианству. Если бы не приходил Христос, откуда была бы у нас вера в человека. Но Он показал нам, как жить. Слава Тебе, показавшему нам свет! — вот как мы должны вечно благодарить Его.

Да благословит тебя и милую твою Татьяну Денисову наш Отец и Создатель.

Твой брат Леонид Тульпа

Публикуется по АМ. — 2 л. На бланке: Leonid V. Tulpa. 64 Iffley Road, Jamaica Plain, Mass.

1. См. прим. 3 к письму 1.

10. Гребенщиков — Тульпе

4 октября 1927 г.

Милый и хороший Брат мой,

Мисс Нобл¹ я написал немедленно, и как только она пришлет мне ее согласие — я немедленно пошлю ей все мои книги для ознакомления со мной.

Ты прекрасно написал мне обо всей ее семье, и я уже вижу всех их среди моих лучших друзей и надеюсь, что мои книги и труды дадут пищу для ума и сердца и возможность для заработка также.

Теперь мне хочется ответить на твое сомнение: люблю ли я читать Евангелие и вижу ли Христа таким, каким Его видишь ты. Вот именно на том и мое разноречие с сотнями современных христианств, что они закоптили Истинный Лик Христа. Фигура Его не только гигантская, но и Вселенски Необъятная. С образом Христа душа наша сжилась по учению нашего великого друга Рериха². Христос, как часто думается мне, не мог быть весь изображен в Евангелии. Но даже и часть Его Заветов и Притч соизмерима только Его Всеблагому Разуму, ибо никто из человек не мог дать таких глаголов. Конечно, Евангелие прошло через многие цензуры и там напущено много сахара. В особенности Христа любят изображать слащавым и почти беспомощным иезуиты. Эти современные инквизиторы достаточно бойко торгуют именем Христа и в наши дни. Поэтому мне более любезен Христос силы, нежели милости. Миллионы христопродавцев, до сих пор распинающих и распинавших Христа своею подхалимной богоугодностью, должны быть снова изгнаны из Храмов. Вот этот Христос — изгоняющий из Храма торгашей и обличающий: «О, род неверный и коварный... Горе вам, лицемеры и фарисеи...»³

и т. д. Этот Христос, Которого мы не должны более позволить не только распять, но и думать о Нем ложно, этот Христос — мой Светлый Образ и Водитель. Христос — всепроникновенный Свет, Христос — источник Истины и Блага. Но если ты с такой любовью советуешь мне перечитать Евангелие, я с такою же любовью прошу и умоляю тебя почитать все что можно о Гаутаме Будде. То, что Христос, посланный Богочеловеком свыше, явил силою Отца и Святого Духа, Гаутама Будда явил это путем неслыханной работы над собой и для примера того, как может всякий человек стать совершенным человеко-богом, почти Христом. Вот почему я так глубоко чту и нашего Русского Будду — Сергия Радонежского, который, также самосовершенствованием и силою своего труда-строительства, стал святым на глазах своих современников. Почти 6 веков прошло, а власть его над духом русского человека благостно довлеет. Итак, возрадуемся, что мы с тобою истинные Братья во Христе. Аминь.

Обнимаю тебя и всех.

Твой Георгий

Читал ли ты книгу Б. Зайцева: «Преподобный Сергей Радонежский»⁴. Если не читал — прошу тебя, достань и прочитай. Если не достанешь — я пришлю тебе свою.

Публикуется по копии (машинопись, отпуск). — 1 л.

1. Нобл, Лидия (1892–1929), поэтесса, переводчица стихов Константина Бальмонта; дочь известного американского журналиста Эдмунда Нобла (Edmund Noble, 1853–1937) и русской писательницы Лидии Львовны Пименовой-Нобл (1864–1934).

2. Рерих Николай Константинович (1874–1947), русский художник, мыслитель, путешественник и общественный деятель; создатель музея своего имени в Нью-Йорке (1923). ГДГ считал Рериха своим духовным Учителем.

3. Евангелие от Матфея ГДГ цитирует из двух мест по памяти, правильно: «О, род неверный и развращенный!» и «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры...».

4. Зайцев Борис. Преподобный Сергей Радонежский. Paris: YMCA-Press, 1925.

11. Тульпа — Гребенщикову

20 февраля 1928 г.

Дорогой Брат,

Вот я опять пишу тебе. Вчера вечером перечел несколько страниц из Твоих «Чураевых»: из книги «Веления Земли»¹. И, знаешь, чудится мне, что много есть в тебе самом Колобовского², а именно — деловитости. Хорошая это черта — деловитость. Этой-то вот черты недостает русскому человеку. Эту-то вот черту сочетать с идеализмом — самое трудное на земле. Ибо идеализм без деловитости часто остается бесплодным. Думать и мечтать хорошо, но воплощать думы и мечты может лишь работник.

Но и в Василии Чураеве³ много твоего. Я как будто вижу самого тебя с твоими планами о Чураевке в неугомном Василии Чураеве. Ах, слишком много на земле говорителей, слишком мало свершителей. Ты — один из свершителей.

Опять я перечел и молитву Василия на земле утром. Это тоже нечто ценное: умение так молиться, способность так чувствовать. Ах, в наш черствый век так мало людей, умеющих молиться, так много людей, стремящихся все исчислить и объяснить материальными способами. Все винтики да молекулы, да химия, да физика. А душу-то, слышь, и проглядели за винтиками-то. Написал мне как-то письмо Рубакин⁴. Ну, вот он все больше насчет «винтиков». И Бога увидеть никак не может.

Жаль, жаль всех этих «механистов». Куды же нам без Бога-то? Нет, человек одними земными заботами не удовлетворится. Это хорошо для животных. Сыт, защищен от непогоды — ну и ладно. Социализм только о хлебе земном и печется. А акромья того — ничего и не видит. А что хлеб-то земной — неужто только для того и живем, чтобы питаться, чтоб брюхо свое начинать?

Я много прочел книжек, выпущенных социалистической партией в Америке. И все они толкуют о вещах материальных. Только о материальных. В этом-то и проклятие современной цивилизации, что она — слишком материальна.

Но соединить практичность с духовностью — великое дело. В этом разрешение самого большого вопроса современности. Если

ты сможешь это сделать и показать людям, как это делается, ты свершишь нечто прекрасное.

Любящий тебя Леонид, брат твой

Привет Татьяне Денисовне.

Публикуется по АМ. — 1 л. На бланке Общества.

1. Гребенщиков Георгий. Чураевы. Т. III: Веления Земли. Нью-Йорк — Париж — Рига — Харбин: Alatas, 1926. — 190 с.

2. ЛВТ говорит о «колобовском» характере ГДГ, сравнивая писателя с персонажем из эпопеи «Чураевы» Андреем Саватиевичем Колобовым.

3. Василий Чураев — главный герой эпопеи ГДГ «Чураевы».

12. Гребенщиков — Тульпе

11 декабря 1930 г.

Милый Брат и Друг Леонид.

Во-первых, всем сердечный привет и братская любовь. Во-вторых, не думай, что мы в Европе: reentry permit¹ не дали, и всё к лучшему: мы решили печатать книги в Чураевке и даже уже начали строить собственную типографию. После часовни св. Сергия это второе великое событие в Чураевке.

Работаю все так же страшно много и с затратой физических сил, но полон неутомимой силы и воли. Не знаешь ли, где <достать> хороших подержанных типографских машин: линотип и цилиндровый пресс. Сообщи, если знаешь.

У меня к тебе великая мольба: где-то в Гарвардском университете получены из России снятые колокола². Если бы можно хоть один добыть в Чураевку. С русской надписью, оттуда — как было бы это значительно. Помоги, если можешь, для большого Русского дела. Чураевка растет — Сикорский³ купил землю и будет у нас строить красивый русский дом. Если мне удастся вооружить себя типографией — ты сам понимаешь, что это будет огромной силой для нас всех.

Дела наши вообще сейчас стали много лучше — хвала Господу и св. Сергию, который нас ведет к Свету и Возрождению России.

Публикуется по копии (машинопись, отпуск). — 1 л.

1. Дословно «разрешение на повторный въезд» (англ.). Вероятно, речь шла о поездке Гребенщикова за пределы США, что повлекло бы необходимость получения новой американской визы.

2. Русские колокола из Данилова монастыря в Москве (18 из 34) были спасены от переплавки и вывезены в Гарвардский университет (Кембридж, США) в середине 1930 г. при участии члена американской благотворительной миссии Томаса Виттемора и известного мецената Чарльза Крейна. В 2008 колокола возвращены в Россию.

3. Сикорский, Игорь Иванович (1889–1972), русский и американский авиаконструктор; после 1917 эмигрировал в США. Поддерживал дружеские отношения с Гребенщиковым, оказал финансовую поддержку в приобретении оборудования для типографии книгоиздательства «Алатас» в Чураевке.

Публикация Ольги Кудзоевой



Иван Кудинов

Родился в 1932 году в пос. Красные Орлы Залесовского района Алтайского края. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Работал в газете «Молодежь Алтая», корреспондентом в «Комсомольской правде» по Алтайскому краю, главным редактором в альманахе «Алтай». Автор романов «Окраина», «Переворот», «Каракорум», «Стихия» и др. Инициатор проведения Шукшинских чтений на Алтае.

Член Союза писателей России с 1967 года.

МЫ ЖИВЕМ НА АЛТАЕ

Нет, заголовок этот не мной придуман. Но известен он мне еще с той поры, когда я учился в школе и потихонечку занимался версификаторством — писал стихи типа «Видь на Обь, чей там смех раздается...» Ну, совсем не по-некрасовски! Наоборот: это, мол, только в те давние некрасовские времена стон и плач доносились с Волги, а сегодня — особенно у нас на Оби — другая жизнь и песни другие...

И в самом деле, мы, мальчишки послевоенных (конца сороковых и начала пятидесятых) годов, несмотря ни на что, были решительными оптимистами, уверенными в том, что не природа нами управляет, а мы должны ею управлять. Только так! А стихи? В какой-то момент я к ним охладел и перешел на прозу. Толчком же к столь резкой смене моих литературных пристрастий послужил совершенно будничным случаем. Однажды кто-то из наших одноклассников (не помню кто и по какому поводу) принес газету «Сталинская смена» — и она пошла по рукам, с парты на парту. Дошел черед и до меня, и я,

развернув заманчиво шелестящие полосы краевой «молодежки», вдруг замер, увидев на третьей странице крупный и не шрифтовой даже, а рисованный заголовок: «Мы живем на Алтае». Однако изумил и тронул меня не сам по себе рисунок, а какая-то необыкновенная магия, певучая теплота этих четырех завораживающе коротких и звучных слов. Хотелось повторять их и повторять, как припев: «Мы живем на Алтае... Мы живем на Алтае!» — то был отрывок из повести Николая Дворцова. И я, что называется, единым духом прочитал его, удивляясь тому, что герой этой повести Валерка, задумав побег на строительство Сталинградской ГЭС, такой же неисправимый романтик и оптимист, как и почти все мальчишки той далекой послевоенной поры...

Вот так впервые открыл я для себя имя алтайского прозаика Николая Дворцова и поставил его рядом с чуть раньше открытым поэтом Иваном Фроловым, стихи которого о Кулунде поражали своей поэтической глубиной и конкретностью:

Вдоль степного
Равнинного диска —
Поезда к колесу колесо.
В грузных «пульманах» —
Хлеб кулундинский,
На платформах —
Бурлинская соль.
А с токов люди машут и машут,
Провожая свои поезда:
— Это к Родине, матери нашей,
С хлебом-солью идет Кулунда!

Все это, как мне кажется, и сближало, роднило Ивана Фролова и Николая Дворцова, зачинателей алтайской послевоенной литературы, — проникновенное и прямо-таки «хлебосольское» отношение к великой и малой родине, к той земле, на которой жили и работали герои их произведений... Тогда все начиналось с нуля. Так, весной 1951 года была создана краевая писательская организация — и первым ее руководителем стал Иван Ефимович Фролов, кстати сказать, единственный в ту пору на Алтае член Сою-

170

за писателей. Вторым будет принят в писательский Союз прозаик Николай Дворцов, но это случится гораздо позже...

И в том же далеком, пятьдесят первом, уже распрощавшись со школой, махнул я в Барнаул, работал сверловщиком на вагоноремонтном заводе, а в октябре был призван на флот, что больше меня удивляло, чем радовало. Морем никогда я не грезил, а все помыслы свои так или иначе связывал с литературой... Да и срок службы морской казался излишне долгим — пять лет! Однако, скажу сразу, служба на Тихоокеанском флоте оказалась для меня невиданно интересной и счастливой. Судите сами. Почти год служил и учился в Школе оружия на Русском острове — ковали из нас артэлектриков ПУС (приборов управления стрельбой), времени свободного мизер, но, как ни странно, именно тогда и в тех условиях курсантской службы окрепло и обострилось во мне желание — писать! Там, на Русском острове, и сочинил первый свой рассказ. И вскоре отнес его в редакцию многотиражной газеты Учебного отряда (на Русском острове, кроме Школы оружия, размещалось еще три школы: Механическая, Объединенная и Школа связи — вот они-то, все вместе, и составляли Учебный отряд Тихоокеанского флота). Редакцию же означенной газеты представлял, в сущности, один человек, лейтенант Волков. Он и взял у меня из рук в руки рассказ «Соперники», главный герой которого повадками и характером очень смахивал на Валерку из повести Николая Дворцова «Мы живем на Алтае». Да и событийная часть рассказа проистекала не на побережье Японского моря, а далеко отсюда, на земле алтайской... Рассказ был опубликован в многотиражке на Русском острове. Думаю, с этого момента и пошло все своим чередом.

После окончания Школы оружия попал я на вспомогательный корабль, бывший японский эскортный эсминец «Хацудзакура» (полученный в 1947 году по репарации), обезоруженный, лишенный прежнего статуса, даже имени своего и служивший теперь, как ехидничали матросы, под номером 26 на побегушках в первой эскадре Тихоокеанского флота. Здесь, на этом вспомогателе, будучи комсоргом корабля и имея уйму свободного времени, и начал я серьезно и много писать и печататься, наладив самые добрые и тесные отношения с главной (формата «Правды», как говорили тогда) газетой Тихоокеанского флота «Боевая вахта».

На бывшем «Хацудзакуре» прослужил я чуть больше года. А летом пятьдесят третьего неожиданно был переведен на флагманский крейсер «Каганович» и назначен ответственным секретарем корабельной многотиражки «Вперед». И здесь уже оставался до конца службы, занимаясь любимым делом. Ждал приказа о демобилизации. Сверхсрочная служба не входила в мои планы — об этом я и думать не хотел. Только домой, на Алтай... «Мы живем на Алтае!» — посмеивался про себя, удивляясь: столько лет прошло, а прозаик Дворцов не забыт и название повести его врезалось в память. Других алтайских писателей, кроме Фролова и Дворцова, я пока не знал. Разумеется, не знал и того, что за время моей службы Николай Дворцов издал три или четыре книги и совсем недавно был принят в Союз писателей — выходит, и для него 1955 год стал знаковым. Но мне тогда и в голову не приходило, что буквально каких-нибудь полгода спустя мы с Николаем Григорьевичем встретимся, познакомимся, сдружимся и почти тридцать лет будем жить и работать рядом.

Вот с таким багажом, отслужив больше четырех лет (срок службы морской к тому времени сократили на целый год), вернулся я на Алтай. И в какой-то момент ощутил пустоту под собою — уплыла из-под ног надежная палуба крейсера, никакой опоры... А что дальше? Флот вручил мне хороший карт-бланш: вот, мол, мы сделали для тебя все, что могли, а теперь действуй сам... но придется все начинать с чистого листа.

Одно знал твердо: работать буду только в газете! Но где, в какой газете? Считал, есть два варианта: либо заводская многотиражка, либо одна из «районок», которых в крае шестьдесят с гаком. «Выбирай любую!» — так сказали мне в секторе печати крайкома партии (где сходились, что называется, все нити печатных изданий края), предложив хорошенько подумать, выбрать район — и через три дня дать конкретный ответ. Однако, поразмыслив, решил я попробовать другой, самый в то время, казалось, заманчивый для меня, но почти безнадежный и недостижимый вариант. Собрался с духом и отправился однажды на улицу Горького, 39, в редакцию краевой молодежной газеты «Сталинская смена», да, да, той самой газеты, в которой когда-то, еще будучи школьником, прочитал отрывок из повести Николая Дворцова «Мы жи-

вем на Алтае» и твердо решил: перехожу на прозу! Вот в эту газету и явился я в декабре пятьдесят пятого и (после месячного испытательного срока) остался в ней и прослужил верой и правдой ровно шесть лет. А начинал я свою «молодежную» карьеру, когда работала там целая команда ленинградских молодых журналистов (приехавших «осваивать целину»), острозыких, независимых, отлично владевших словом, как мне казалось тогда, — Виктор Головинский, Роза Копылова, Глеб Горышин, Олег Петров, Борис Сергуненков...

Помню, мы с Головинским сидели в одной из угловых комнат, смежной с другой, совсем крохотной боковушкой, типа приемной, через которую мы и проникали в свой довольно просторный и светлый, с двумя большими окнами кабинет. Кроме трех рабочих столов, у нас еще в простенке, ближе к двери, помещался громоздкий, изрядно просиженный и потертый кожмитовый диван, с вальяжно откинутой спинкой. Кажется, это был единственный диван в редакции и стоял он здесь по той простой причине, что кабинет угловой был самым просторным. Потому и любили заглядывать к нам коллеги из других отделов, урвут свободную минутку — и тут как тут, бух на диван, и пошли разговоры, нередко бывали и неожиданные гости. Так, я впервые увидел Льва Квина, повесть которого «Экспресс следует в Будапешт», недавно изданная в Барнауле, была тогда на слуху, забегал Виктор Попов, горластый, насмешливо-ехидный, о нем я мало что знал, заглядывал иногда Борис Кауров, невысокий крепыш, добряк, поэт божьей милостью, прошедший войну, с ним мы подружимся крепко, а его сжатое, как пружина, восьмистишие под названием «Новичку» я бы и сегодня, в XXI веке, включил во все российские школьные хрестоматии:

Как положено по уставу,
я сдаю тебе этот пост:
флаг из шёлка и берег правый,
белый камень и восемь берёз.
Вот и всё. Можешь слову верить.
Только помни: не флаг на столбе,
не берёзы, не камень, не берег, —
я Россию вверяю тебе.

Вот и все! И других слов здесь не надо.

А диван в кабинете нашем исправно служил, не теряя своего назначения, хотя нас это не очень-то радовало — гости чаще не развлекали, а отвлекали, мешая работать... Но что любопытно: соседи наши, из боковушки, никогда к нам не заходили. А их было двое: редакционный художник Степан Иванович Савчук и литконсультант, широко в то время известный на Алтае поэт Иван Фролов. Однако Иван Ефимович появлялся нечасто, у него был свой распорядок, иногда он по нескольку дней не заглядывал вовсе; потом приходил, усаживался за стол, доставал из выдвинутого ящика какие-то бумаги, рукописи и углублялся в работу, навёрстывая упущенное... Никогда я не видел, чтобы Фролов бездельно слонялся по редакции, это было исключено. Приходил, делал свое дело — и ускользал незаметно. Потому и встречались мы все реже, реже и как бы случайно. Встретимся, вежливо поздороваемся — и никаких вопросов, разговоров. Так и осталось между нами какое-то отчужденное пространство — не нашли общего языка. Впрочем, у Фролова в то время была такая полоса в жизни, такая непроглядно-черная полоса, когда человек и сам с собою не ладит...

А вот знакомство с Дворцовым — совсем другой коленкор. Но случилось это уже после того, как распалась вдруг, казалось, крепко спаянная пятерка ленинградцев — Виктор Головинский уйдет с геологами в Саяны и там навсегда останется, погибнув где-то в дебрях сибирской тайги, Горышин и Сергуненков вернуться в родной Питер (оба станут хорошими прозаиками), а Петров переедет в Новосибирск...

Вот тогда-то, весной 1956-го, кадровый кризис порядком потрянул молодежную газету — срочно требовались замены да по возможности равноценные; а ко всему вдобавок (после прошедшего в феврале XX съезда партии, на котором Никита Хрущёв развенчал «культ Сталина») поступило строгое указание — название газеты изменить! Ну, это дело нехитрое — и вскоре вместо «Сталинской смены» начала выходить «Молодежь Алтая». Попутно и редактора заменили — перестройка пошла полным ходом, новая метла, как говорится, чище метет. Кабинет ответсекретаря занял уже упоминавшийся Виктор Попов, шумный, колготной и всезнающий, дверь у него всегда нараспашку — входи без стука... Пополни-

лась редакция двумя молодыми сотрудниками — Слава Штыров, насколько мне помнится, выпускник Свердловского университета, и Валентин Криволапов, бывший, как и я, моряк, поэт, стихи его вскоре украсят «Молодежку». И в это же время появился новый заместитель редактора, Николай Григорьевич Дворцов, человек, в отличие от Попова, сдержанный, обстоятельный и добрейший — это у него и на лице было написано. Он как-то сразу, естественно и без малейшей раскачки влился в коллектив и безоговорочно стал с о и м.

Не могу сказать, что наши отношения с Николаем Григорьевичем по-особому складывались и выделялись, этого не было и не могло быть — тогда ничто еще, в сущности, нас не связывало. И Дворцов, полагаю, смотрел на меня и относился ко мне точно так же, как относился он ко всем остальным сотрудникам редакции — одинаково ровно и дружелюбно, не выделяя кого-то особо; а что касается нашей встречи и знакомства нашего именно здесь, в редакции краевой «молодежки», думаю, совпадение это случайное да и посылы к тому были разные. Мое здесь присутствие продиктовано острой необходимостью — утвердиться в газете, набить руку, найти свою стежку-дорожку и, если хотите, выйти к большим темам и замыслам, что для Николая Григорьевича было этапом уже пройденным: «утверждаться» в газете ему незачем, и руку набил он к тому времени основательно. Как раз в том же 1956 году вышла у него пятая по счету книга повестей, он так ее и озаглавил: «Повести». И, как мне казалось, дал себе передышку, решив поработать в газете... Ошибался я тогда.

Но теперь-то знаю доподлинно и могу подтвердить, что именно тогда, будучи заместителем редактора молодежной газеты, Николай Григорьевич работал без передышки, завершая вчерне рукопись первого своего романа «Дороги в горах», а еще ж и набело надо было переписать, очистить текст от всевозможных охвостьев и сорняков... Работа адова! — как говорил поэт.

И тем не менее, насколько помнится, Дворцов и в то время выглядел бодрым, подтянутым и аккуратным предельно — утром как штык являлся на службу, не позволяя себе самой малейшей расхлябанности, по его утренним явкам в редакцию можно было сверять часы. Однако сказать, что Дворцов сиднем сидел толь-

ко в редакции, тоже нельзя, не отлынивал он и от командировок, нередко выскакивал на денек-другой в какой-нибудь ближний, а то и отдаленный район — и пустым никогда не возвращался: проблем и различных тем в любом районе хватало. Так что командировки для газетчика — привычное дело.

Однажды столкнулись мы в узеньком редакционном коридорчике, и Николай Григорьевич, пожав мне руку, воскликнул шутливо: «Ну, вот, на ловца и зверь бежит! А я как раз пошел тебя разыскивать». Будто мы не в редакции находились, а где-то в лесу. «Есть предложение, — сказал он потише, но с еще большей загадкой. — Зайдем ко мне, — кивнул на дверь своего малюсенького кабинета, мы зашли, и Николай Григорьевич, не садясь за стол, а стоя рядом со мной, коротко изложил суть предложения: — Ну, ты знаешь, конечно, что в крае началась уборка озимых, — сказал он. — А заодно и всюю еще продолжается заготовка кормов — пора жаркая и ответственная. Вот это и надо хорошо показать и рассказать об этом в большом и добротном репортаже, а может, и не в одном... Проедем по двум-трем самым хлебным районам, — весомо добавил. — Маршрут сам напрашивается: Поспелиха — Шипуново — Алейск. Ну, что скажешь?» — «По-моему, интересный маршрут», — осторожно похвалил я, не во всем еще до конца разобравшись. «Вот и готовься! Отправимся завтра», — распорядился Николай Григорьевич. «На поезде?» — уточнил я. «Нет, поедем на машине. Миша уже знает и готовит свой «танк». А ты зайди в бухгалтерию, — подсказал, — и получи командировочные. И с Мишей договоритесь... Утречком пораньше завернете ко мне — и покатым по холодку. Действуй, — и бросил вдогонку, когда одной ногой я ступил уже за порог: — Да, кстати, вместе с нами поедет еще один человек. Геннадий Гоц, знаешь такого?» Нет, такого я не знал. «Ну, как же так?! — нарочито удивился Дворцов и вроде даже расстроился, изобразив на лице огорчение. — Это же инструктор ЦК комсомола. Между прочим, Геннадий Сидорович Гоц — куратор всего нашего юго-западного околотка, очень важная птица. Его и в Новосибирске знают... — добавил пугающе и, засмеявшись, успокоил меня: — Да ты не горюй, по дороге познакомитесь. Не так уж страшен черт...»

Именно так все и вышло. Геннадий Сидорович Гоц вовсе не «чертом» оказался, а вполне живым и добрым малым, примерно моего возраста. Потому и познакомились мы без всяких величаний и сразу же, не сговариваясь, уместились на заднем сиденье, охотно уступив переднее кресло, рядом с водителем, Николаю Григорьевичу. Все, как положено, по старшинству: командир впереди! — дружно определились мы и неизменно придерживались этой диспозиции.

Поездка наша была не только полезной, но и развеселой, надо сказать. Видавший виды редакционный ГАЗ-69 (под водительством Миши Воротникова) за три дня исколесил немало дорог, а случалось, одолевал и бездорожья; побывали мы, как и намечали, во многих шипуновских, поспелихинских и алейских совхозах и колхозах, встречались с людьми самыми разными — агрономами и механизаторами, парторгами, комсоргами и животноводами, руководителями крупных и мелких хозяйств... и непременно заглядывали в райкомы комсомола, где инструктор ЦК ВЛКСМ и куратор юго-западной сибирской зоны Геннадий Сидорович Гоц чувствовал себя, что рыба в воде, атмосфера ему знакомая...

Впрочем, он и на воде отменно держался — нырял и плавал на совесть. Это мы вскоре увидим. Погода стояла горячая — лето достигло вершины! Да и наездились мы в тот день изрядно. И Николай Григорьевич (видать, немоготу стало от жары) вдруг предложил: «Ну что, братцы, не сделать ли нам привал? Заодно и в речке поплещемся». Вздых оживления был ответом. А Миша разом воспрянул и ждать повторных указаний не стал, круто повернул газик и погнал к Алею, бурча себе под нос: «Сейчас я покажу вам шикарное местечко, сейчас... Райским уголком называется».

Водная гладь Алея совсем уже близко придвинулась и блестяла заманчиво, как бы плаваясь под солнцем. Лихо развернув машину и поставив правым бортом к реке, Миша мягко притормозил и, распахнув дверцу, весело скомандовал: «Взвод, в ружье!» Нас, как ветром, вынесло из брезентовой духоты. От близкой реки тянуло свежестью. Кто-то из нас даже присвистнул в предвкушении манящего удовольствия...

Николай Григорьевич не спеша снял взмокшую на спине рубашку, кинул на приоткрытую дверцу газика, прошел вдоль бе-

рега, тотчас повернул обратно — слева зеленели густые заросли тальника, а еще ниже пологий скат длинной грядой сбегал к самой воде, бугрясь желто-серыми песчаными дюнами. «Насчет райского уголка, похоже, Миша загнул малость, — сказал Николай Григорьевич, посмеиваясь, — но в общем вполне удобное место... Вполне».

А мы уже наготове. Наш «куратор» мигом облюбовал бугор, трамплином нависавший над водой, и стоял на нем, как на пьедестале. «Осторожно, Геннадий Сидорович! Не упади», — предупредил Миша, явно насмешничая. «Не робей, Миша, жду тебя на том берегу», — весело отозвался Гоц и, оттолкнувшись всем корпусом, прынул с двухметровой высоты этакой ласточкой — вода почти без всплеска скрыла его и долго не отпускала, нет его, нет и нет... мы уже забеспокоились, когда, наконец, он вынырнул далеко у противоположного берега и призывно помахал рукой.

Миша, видать, задетый за живое, решительно и без малейшего промедления ринулся с того же бугра в алейскую воду — и долго его не было видно. Однако как ни старался, но всплыл он гораздо ближе, чем по-боевому настроенный в этот день комсомольский куратор.

Мы же с Николаем Григорьевичем, зная свои возможности, и вовсе не вмешивались в столь недоступное нам подводное состязание — вошли в реку, окунулись раз-другой и спокойно поплыли к тому берегу, где Миша Воротников и Геннадий Гоц, завершив свои первые заплывы, стояли рядышком по пояс в воде и дружески живо о чем-то беседовали...

«Молодец, Миша, — похвалил Дворцов, когда мы приблизились к ним. И тут же сменил тон: — Но все же не дотянул ты малость... Слабо, что ли?» — вдруг начал подзуживать. «Так это всего лишь пробный заплыв, Николай Григорьевич», — вывернулся Миша. «Пробный? — недоверчиво переспросил Дворцов. — А что, будут еще заплывы решающие?» — «Лично я не против, — уже придя в себя, самонадеянно заявил Миша. — А вот как мои соперники, не знаю...» — глянул на Гоца. Тот слушал, посмеиваясь. «Ну, и что скажут соперники?» — обратился к нему Дворцов. «Коли вызов есть, придется его принять, — ответил Гоц, как бы вступая в некую игру. — Просим секундантов объявить условия нашей дуэли...»

Мне тоже все это показалось тогда разлюли малиной — и я вмиг загорелся сыграть роль секунданта. Не забывайте, мы были молоды: самому старшему из нас четверых, Николаю Григорьевичу Дворцову, было в то время лишь тридцать девять, а самый младший отпраздновал накануне четверть века... «Боже, как время летит!» — горевал он, тут же забывая о своем возрасте. Итак, нас, действующих лиц, в том игровом эпизоде, было четверо — два дуэлянта в лице отважного нашего шофера Миши Воротникова да славного парня, инструктора ЦК ВЛКСМ, куратора всесибирского Геннадия Гоца, не захотевшего барином прокатиться по Алтаю на крайкомовской «Волге» (как и положено ему по статусу), предпочтя пресловутому сибаритству не столь мягкую поездку под горячим брезентом редакционного газика; и два строгих секунданта, скажем так, роль которых выпала нам с Николаем Григорьевичем. Впрочем, больших трудов это не стоило — никаких шагов отмерять не надо, заряжать пистолеты не наше дело, да они и не предусмотрены. Условие лишь одно: два подводника-дуэлянта выходят, как и положено, на старт, и по команде: «Внимание! Марш!» — ныряют и уходят на дистанцию, кто дальше уплывет под водой, тот и победитель.

Все так и проделали. Миша с Геннадием стартовали с левого берега. А мы с Дворцовым, накупавшись, сидим на горячем песочке более высокого правобережья и созерцаем сверху пока что безлюдную поверхность Алея — где-то в его глубине состязаются наши непримиримые дуэлянты... Кто победит?

Но тут, как мне кажется, и загодя все очевидно. Геннадий Гоц не мастер спорта, но близок к этому, пловец высшего разряда, профессионал, а Миша сплошной любитель, хотя и ловкий, упорный, хитрый... Мне, вообще-то, непонятно, зачем он ввязался в соперничество с Гоцем? Ведь все было ясно уже после первого заплыва — силы неравны!

Говорю об этом Дворцову, он загадочно посмеивается: «Так ты же сам сказал: Миша ловкий, Миша хитрый... Посмотрим». Ну что ж, поглядим. Прошло всего лишь несколько секунд. И вдруг Миша, вынырнув, помаячил нам выразительно, ладонью губы прикрыв, дескать, молчите, ни гугу, потом разберемся... И надал саженками к берегу, размахивая руками, как веслами. А Гоц все еще не показывался. И Миша, чувствуя, наверное, что пора пря-

тать концы в воду, спокойненько погрузился, уйдя с глаз... В это время и появился Гоц, выскочив из воды, как черт из табакерки, и стал оглядываться, туда и сюда, ничего не понимая... где Миша? Наконец, и Миша всплыл, чуть ли не уткнувшись головой в берег, обойдя Гоца метра на три... Невероятно! Они стояли друг против друга в воде — обескураженный Гоц и ликующе сдержанный хитрец Миша, ситуация, в общем-то, нам понятная — начался розыгрыш. И Миша здесь задавал тон, исполняя роль «победителя». И хотя исход любого розыгрыша известен: поставить жертву розыгрыша в ситуацию ложную и неприятную, покуражиться, насладившись донельзя растерянным и подавленным, а то и вовсе убитым видом того, кто оказался в ловушке, а потом торжествующе весело и даже беспечно объявить, что это всего лишь шутка — и посмеяться вдоволь и сообща.

Вот и сейчас назревал такой же исход. Но что-то затягивалось... И мы, секунданты, а вернее сказать, соглядатаи, втянутые в эту игру и видевшие всю картину со стороны, едва сдерживали смех. «Ну что, Геннадий Сидорович, признаешь свое поражение?» — спросил Дворцов, как бы подталкивая к развязке, смех душил его изнутри. «Нет, Николай Григорьевич, не признаю, — довольно спокойно ответил Гоц, видать, заподозрив некий подвох. И коротко пояснил: — Многовато неясностей. И шибко папахивает химией... Придется повторить заплыв», — это он уже к Мише обратился. А Миша, на удивленье, оказался сговорчивым, не кочевряжился, сразу же согласился: «Нет проблем». Но и второй заплыв ничего не изменил. Все повторилось, что называется, один к одному — Миша тем же манером обошел Гоца и вроде поставил точку. Однако на этот раз Гоц проявил еще большую решимость. «Нет, Миша, — сказал он твердо, — поставим точку только после третьего заплыва. Так будет вернее», — похоже, теперь он не просто подозревал, но и догадывался, а может, и догадался уже, где тут сокрыта «химия», потому и стоял на своем. Но этого мы не знали, не могли знать и были уверены — Миша «победит», все к тому шло. Видимо, и Миша в этом не сомневался, способ надежный — дважды вырулил, вырулит и в третий раз. Словом, расслабился, потерял бдительность, излишне захорохорился: «Да мне-то что, третий так третий, по мне хоть пять заплывов», — бухнул с кон-

180

дача. «Пять не надо, — сказал Гоц, видимо, все уже продумав и намотав себе на ус. — А третий заплыв будет решающим. Договорились?» — словно расставил перед собой невидимые фигуры. Сборы были недолги. «А чего долго шарашиться! — сказал Миша, усмехаясь. — Нищему собраться — только подпоясаться... — и, приложив ладонь к уху, окликнул нас: — Алло, секунданты! Решающий заплыв. Засеките».

И не успели мы глазом моргнуть, как дуэлянты наши — без лишнего шума и плеска — нырнули и в третий раз скрылись под водой, решая одну задачу: кто дальше уйдет — тот и победит! Но каждый из них решал эту задачу по-своему... Прошло несколько секунд, и Миша, будто по чьей-то команде, вынырнул и без всякого роздыха ударил вразмашку по тихой глади Алея к правому берегу, как уже было и в двух предыдущих заплывах, тактика не менялась. «Ну Миша, ну и хлюст», — слегка вразтяжку и таким тоном проговорил Николай Григорьевич, что трудно было понять, чего в его голосе больше — восхищения, порицания или того и другого поровну? Между тем Миша уже всюю праздновал в душе «победный» финиш своего развеселого розыгрыша, так мне казалось. Однако случилось невероятное — и розыгрыш, как таковой, в полной мере не удался, Мишу изобличили...

Прошли считанные секунды после того, как Миша вынырнул и, работая руками и ногами, воровато заспешил к берегу; и в тот же миг неожиданно появился из воды Геннадий Гоц, великолепный пловец, он разгадал, наверное, хитрые Мишины уловки и решил низвести их к нулю — мощным брассом пошел вдогон, в два счета настиг Мишу, что-то ему сказал и махом уплыл вперед, оставив его далеко позади; а, впрочем, ошарашенный и, что называется, в пух и прах «развенчанный», Миша и не пытался угнаться за ним, он лишь тоскливым взглядом проводил его, лениво перевернулся на спину и тихонько двинулся следом, как бы всем видом своим говоря, что теперь спешить ему некуда и незачем...

Вот в этот момент и подкатил к нашему газику, стоявшему на слегка возвышенном левобережье Алея, пропыленно-серый юркий «москвич», дверцы его враз отворились, и двое мужчин, выйдя из машины, приветственно помахали нам: «Ну, как водичка? — крикнул один из них, уже держа в руках фотоаппарат, и громко

(наверное, чтоб слышали мы) речитативом пропел: — С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом...» — и мы сразу поняли: наш брат, газетчики, но кто, откуда? А он засмеялся и сказал: «Пулеметов у нас нет, а вот «лейка» наготове. Внимание! Прошу не моргать и не двигаться», — и трижды щелкнул затвором.

Оказывается, кем-то уже упрежденные, они знали, кто мы и откуда, хотя и мы в догадке своей не ошиблись: ребята были сотрудниками алейской райгазеты — так что снимки нам гарантировались.

Помню, много лет спустя обнаружил я в своем безалаберном фотоархиве изрядно подзабытую небольшого размера, но четко отпечатанную и хорошо сохранившуюся карточку, где мы запечатлены вчетвером: Миша Воротников и Геннадий Гоц стоят друг против друга по пояс в воде и живо толкуют о чем-то явно веселом (что видно по их лицам и выразительным жестам рук), вероятно, смакуют детали неудачного Мишиного розыгрыша; а чуть поодаль от них, четко схваченные объективом, на бережку, среди песчаных дюн, сидим мы с Дворцовым и, глядя на разгоряченных дуэлянтов, нет, не закатываемся хохотом, но смеемся от всей души.

Позже мне казалось, что не будь этой фотографии, не сохранила бы память столь живое и отчетливое впечатление от нашей поездки. Гляну на снимок — и все как на ладони!

А может, причина не в снимке, а в чем-то другом? Таких поездок за годы газетной работы перебивало не десятки, а сотни, запомнились же лишь единицы и те обрывочно и смутно, как давние сновидения. Но эта поездка (кстати, единственная наша совместная с Дворцовым) оставила в памяти зарубку. Однажды поймал себя на мысли: именно тогда, после той совместной поездки, мы с Николаем Григорьевичем сблизились и впоследствии (на протяжении почти тридцати лет) жили не просто как «соседи по времени», а как близкие люди, относившиеся друг к другу с большим взаимным вниманием, пониманием и, если хотите, даже не дружеским, а неким более глубоким и сокровенным чувством братского доверия... Так что любая фотография была бы тут лишь сбоку припека.

Помню, вернувшись из той веселой командировки, мы с Николаем Григорьевичем, не откладывая в долгий ящик, подготовили большой очерковый репортаж о начале хлебной страды на Алтае, прямо-таки пахнувший, как мне казалось, свежим зерном и полевой

страдой, который срочно был разверстан чуть ли не на весь газетный разворот «Молодежки» и подписан: Н. Дворцов, И. Кудинов.

Не скрываю, мне было приятно такое соавторство — и в душе я немножко гордился. Думаю, Николай Григорьевич, имевший за плечами более солидный жизненный и литературный опыт, относился к этому гораздо проще и спокойнее. Так или иначе, но повторяю, личные отношения наши с той поры заметно потеплели, впоследствии они становились все более доверительными, а то и попросту свойскими.

И ничто, казалось, не могло уже этому помешать.

А вот славный парень, инструктор ЦК ВЛКСМ и куратор сибирский Геннадий Гоц, вернувшись из совместной с нами командировки, как-то враз выпал из нашего круга — и больше мы его не видели. Да это и понятно — у него другой уровень общения, не шибко-то мы и горевали, а потом и вовсе забыли о нем. И вдруг, много лет спустя, совершенно случайно слышу по радио: «Нашим собеседником был известный критик и литературовед Геннадий Сидорович Гоц». «Ничего себе!» — ахнул я, удивленный до крайности, «известный критик», а мы о нем ничего не знали... Неужто это тот самый комсомольский куратор, который так лихо с Мишей Воротниковым, нашим редакционным шофером, наперегонки чуть ли не весь Алей переплывал под водой? А может, нынешний критик тому инструктору комсомольского ЦК всего лишь полный тезка? Ведь и фамилия, имя, отчество — все совпадает...

Не удержался я, снял трубку и позвонил Дворцову. Николай Григорьевич выслушал и спокойно рассудил: «А что, вполне возможно, парень-то он головастый...» — «И как же мы тогда проглядели в нем... критика?» — говорю с явною подковыркой. «Так он же все время был под водой, как ты его разглядишь...» — смеется Дворцов.

Прошло много лет с тех пор, а вспомнишь об этом — и непременно улыбнешься. Пустяк? Но ведь это частичка нашей жизни.

Вот и сегодня (летний вечер, 17-й год XXI века) сижу за ноутбуком и слово за словом пытаюсь воспроизвести в своем, скажем так, мемуарном эссе хотя бы тысячную долю того, что с нами происходило, как работали мы и дружили, ссорились и мирились, помогали друг другу в трудные часы и минуты... Сижу за ноутбуком

и вспоминаю Дворцова в его, может быть, наиболее счастливые и плодотворные годы, включая сюда и нашу совместную работу в газете, и ту неповторимо удачную и незабываемую поездку по самым пшеничным районам края. Впрочем, из газеты Николай Григорьевич вскоре ушел, как он сам говорил, на вольные хлеба. Хотя причина крылась гораздо глубже — наступают моменты, когда газетная и литературная работы становятся несовместимыми. Знаю, именно в ту пору Дворцов, что называется, плотно засел за свой первый роман «Дороги в горах». Он долго и основательно к этому готовился, не раз побывал в Горном Алтае, прошел и проехал многими горными тропами и дорогами, написал большой очерк «В долине Урсула», вышедший пару лет назад отдельной брошюрой в Горно-Алтайском книжном издательстве, что и послужило, как нетрудно догадаться, отправной точкой для будущего романа. Николай Григорьевич и сам не раз говорил, что, де, «урсульский» очерк это всего лишь вешка на пути к более крупной художественной вещи. Вот над этой «вещью» он и работал в ту пору.

Однажды, не помню по какому неотложному поводу, забегал я к Дворцову, жившему тогда где-то в районе многочисленных не то Алтайских, не то Прудских улиц, дом, кажется, был деревянный, с потемневшей тесовой крышей и, разумеется, без всяких особых удобств, что меня вовсе не удивляло — в те послевоенные годы очень многие ютились и не в таких условиях... Но тут ведь речь шла о писателе, которому нужен угол для работы. Впрочем, Николай Григорьевич не жаловался, но признавался: «Тесновато, конечно, семейка растет, а квартира не расширяется». У него было три дочери — две младшие еще дошкольницы, а старшая уже пионерка. Николай Григорьевич оживал, когда разговор касался семьи: «Мне везет на женщин», — говорил он, посмеиваясь. О работе я его не расспрашивал, он сам, провожая меня, как бы вскользь обронил, когда я был уже у двери: «А роман мой, похоже, идет к завершению», — выдохнул, будто гору с плеч свалив, и согнутыми пальцами постучал по косяку, что проделал и я вслед за ним, весело отозвавшись: «Ждем, ждем, Николай Григорьевич, будем читать...»

Дворцов был в хорошем настроении и, как мне казалось, жил в ожидании чего-то еще лучшего. И, надо сказать, 1957 год не об-

манул Николая Григорьевича, действительно став для него знаковым. Роман был закончен и с ходу опубликован в одном из номеров альманаха «Алтай», заняв львиную часть всей площади — больше ста журнальных страниц. Лучшего подарка к своему сорокалетию Николай Григорьевич и желать не мог! Словом, обкатка была удачной. Журнальная публикация — это ж сродни ходовым испытаниям нового корабля перед большим плаванием. Так что все шло по плану. И даже сверх плана! В 1959 году роман Николая Дворцова «Дороги в горах» почти одновременно вышел в двух издательствах — Новосибирском и Алтайском. Вообще-то, такие спаренные издания (одной и той же книги одновременно в разных издательствах) строго возбранялись, хотя исключения бывали, конечно. Так или иначе, но дворцовские «Дороги в горах», получив столь весомые преференции, можно сказать, единым махом разошлись по всей Сибири. Позже роман переиздаст популярное в то время столичное издательство «Советская Россия».

Николай Григорьевич сразу же, не переводя духа, как только «Дороги в горах» вышли в свет, засел за новый роман, давно выношенный, мучительно тянущий к себе и не дававший покоя даже во снах, как старая незажившая рана, выстраданный, казалось, не только всем нутром, но и каждой клеточкой задубевшей за три года под холодным норвежским небом собственной кожи.

Потом, в минуты душевной распахнутости, Дворцов признавался, как долго ему не давалось начало: что ни напишет, тут же и вымарает — не то, не то, не то!.. Зажмурил глаза от бессилия — и вдруг все ясно увидел и услышал, как будто само по себе начало, уже давно готовое, легло ему в руки: «Низкое лохматое небо сеяло почти невидимую водяную пыль. Впереди колонны, с боков и сзади — штыки. Сплошной частокол штыков. Мокрая, холодно-синеватая сталь поблескивает с угрожающей ненавистью. Такая же угрожающая ненависть в глазах и на мокрых синеватых лицах конвоиров. Колонна, миновав круглую опрятную площадь, вышла на улицу. Трак, трак, трак, — тарыхтят о скользкую брусчатку деревянные подошвы пантофель...» — перо скользит по бумаге, теперь его не остановить. Позже, когда работа подойдет к завершению, Николай Григорьевич однажды как бы мимоходом,

вскользь обронит: «А пантофели те, что колодки кандалные, иногда в кровь сбивали ноги...» — как будто, работая над романом, он снова надел эти пантофели деревянные и сбил в кровь не только ноги, но и саму душу свою, вновь и вновь переживая то, что было испытано за три года в фашистском концлагере, под сенью неприветливо-скалистых и неуютных берегов Норвежского моря... Вот отсюда и название романа «Море бьется о скалы» — метафора емкая, живая и очевидная.

Роман, в сущности, задуман еще в сорок седьмом (после переезда Дворцова в Барнаул, где жили в то время его мать и брат), но тогда опыта для такой сложной работы явно недоставало и роман был отложен. Вернулся к нему Николай Григорьевич лишь через одиннадцать лет. Столь длительная пауза вполне оправдала себя — и хотя пришлось начинать все с нуля, роман был написан в небывало короткий срок; в конце шестидесятого завершен, тщательно вычитан, а в первой половине 1961 года начались, что называется, «ходовые испытания» — хорошую обкатку роман прошел в двух номерах альманаха «Алтай». А там уже наготове краевое книжное издательство — все шло по графику, как и предусмотрено планом. Пятнадцатого июня роман был сдан в набор, а двадцать второго сентября подписан к печати... Понадобилось всего лишь три с половиной месяца, чтобы подготовить и выпустить в свет 115-тысячным тиражом одну из самых, наверное, горьких и глубоко выстраданных книг Николая Дворцова.

Перед новым 1962 годом роман поступил во все книжные магазины и киоски Союзпечати, разослан был по заявкам во многие города Сибири — однако уже летом того же шестьдесят второго найти его на книжных прилавках было крайне затруднительно, а потом и вовсе невозможно, опустели даже самые потаенные книжные загатники... И хотя тираж романа «Море бьется о скалы» был довольно большим, можно сказать, сверхмассовым — спрос читательский оказался куда как более значительным, превзойдя все расчеты и ожидания Книготорга. Впрочем, выход из сложившейся ситуации был прост — повторить издание. Такое решение приняли не с кондачка, но очень скоро. Тем более технических сложностей не предвиделось, все на мази, даже старый набор не рассыпан... Запускай печатный станок — и шлепай.

Что и было сделано в 1963 году. Однако и тираж повторного издания не смог насытить книжный рынок — роман «Море бьет-ся о скалы» буквально был сметен с прилавков... И тогда вдогон за вторым изданием последовало третье — в 1964 году.

Кстати, в этом же, 1964-м, в столичном издательстве «Советская Россия» вышел и другой роман Николая Григорьевича — «Дороги в горах». Счастливое совпадение? Мне кажется, не только счастливое, но и закономерное завершение десятилетнего периода — от первой книги «Мы живем на Алтае» и до последних изданий двух романов, как бы завершающих самый, хочется верить, счастливый и плодотворный период творческой жизни и работы писателя Николая Григорьевича Дворцова, ему же в это время исполнилось всего лишь сорок семь — и многие книги его были еще впереди...

Между тем и в мою жизнь именно этот период привнес немалые перемены: в конце 1961 года вышла первая моя книга «Цветы на камнях», а в самом начале 62-го случился неожиданный, но почетный и, разумеется, лестный для меня переход из «Молодежки», в которой прослужил я ровно шесть лет, в «Комсомольскую правду», собственным корреспондентом по Алтайскому краю. Что и говорить, работать в такой газете, как «Комсомолка» шестидесятых годов двадцатого века, — было великой честью и, если хотите, пределом мечтаний для многих журналистов. Не обошло и меня это чувство. Хотя в последнее время все чаще подумывал я о том, что рано или поздно придется сделать выбор: литература или газета? Тащить разом два одинаково тяжелых воза и, тем более, совмещать их, эти «воза», невозможно. Впрочем, для себя выбор я уже сделал, вопрос касался лишь времени, и время это, как мне казалось, пришло. Летом 1963 года журнал «Юность» опубликовал мою первую повесть «Погода завтра изменится». И погода для меня действительно изменилась — вопрос «быть или не быть?» сам по себе отпал, осталось только одно: быть! В том же году на Алтае вышла вторая моя книга. Это, как мне кажется, и положило конец всем моим колебаниям. И в 1964 году, пересилив себя, ушел я из журналистики. Навсегда! Позже я даже отказался от членства в Союзе журналистов, но это не значило, что я хлопнул дверью (с чего бы такой выпад?!), нет, все сделано было по-хороше-

му. А в своем коротеньком заявлении, не кривя душой, написал я, что, де, как литератор обязан, прежде всего, газетам, начиная с корабельной многотиражки «Вперед» и кончая самой любимой и популярной в стране «Комсомольской правдой» — они мне дали гораздо больше, чем я сумел им отдать... Признание это легло на душу — и осталось в душе навсегда.

И вот теперь, когда я был совершенно с в о б о д е н, уйдя, как считалось тогда, на вольные хлеба, вдруг увидел и понял, почувствовал всем нутром, что никаких «вольных хлебов» нет в природе (они лишь в нашем воображении), ибо всякий хлеб насущный добывается только трудом... и трудом нещадным. Иного человеку не дано! Особенно человеку пишущему...

Помню, столкнулись мы как-то с Дворцовым в издательском коридоре, давно не виделись, обрадовались друг другу (во времена собкоровской моей занятости не до того было, а тут на тебе — нос к носу): «Ну, брат, это знак добрый, когда писатели встречаются здесь, в коридорах издательства, — пошутил Николай Григорьевич, крепко встряхивая и пожимая мне руку. — Значит, жди новых книг», — подчеркнуто весело и чуточку иронично подытожил, сощуриваясь и, казалось, просвечиваясь каждой складкой брутально крупного, жесткого и по-мужицки правильного лица. Не сговариваясь, мы прошли в глубину коридора, к окну (насиженный издательский угол для всяких кратких и ни к чему не обязывающих разговоров), прислонились к широкому подоконнику, и Николай Григорьевич, точно угадав мои мысли, спросил: «Ну, как привыкается к полной свободе?» И я в тон ему ответил: «Привыкается легко. А вот как будет отвыкаться...»

Он коротко покивал, пряча ухмылку: «Вот, вот, и я это же хотел сказать. Ты прав, излишняя свобода зачастую мешает нам, — сказал он через секунду, как бы соглашаясь со мной, хотя, кажется, ничего подобного я не утверждал. — Так что иногда такую свободу не грех и укоротить — иначе ничего хорошего не выйдет. Говорю это с оглядкой на свой опыт, — добавил он мягче, будто оправдываясь. И, чуть помешкав, спросил: — Пишется?» «Стараюсь», — слегка скрытничая, чтобы, наверное, не сглазить нынешнюю свою работу, отвечаю. «Новая повесть?» — пытливо поглядывая из-под густых рыжеватых бровей, уточнил Нико-

лай Григорьевич. «Да, тема для меня совершенно новая, — охотно признаюсь, не видя в том большого секрета. — «Городская жизнь» называется, условно, конечно...» — выложил еще одну малость. «Городская жизнь? — повторил Николай Григорьевич, по-моему, без всяких кавычек, имея в виду не название моей повести, а саму жизнь городскую и как бы взвешивая что-то в уме. И тут же сам себе подсказал: — Вот это и есть главное — чтобы работалось хорошо! А городская... деревенская... не в том суть. Кстати, тебе не кажется, что название немножко манерное?» — вдруг он спросил. «Да? — удивленно глянул я на него. — Вы так считаете? Надо подумать, посмотреть...» — озаботился всерьез. Подмывало спросить Николая Григорьевича: а что же он пишет, над чем сейчас работает? Но что-то помешало, и разговор наш ушел в сторону... Впрочем, вскоре и без того все выяснилось.

Летом 1966 года Николай Григорьевич издал новую повесть «Опасный шаг», в центре которой судьбы, характеры молодых людей, любовь и ненависть, поиски нравственных опор и неизбежные провалы там, где опоры эти были непрочными... Николай Григорьевич очень серьезно относился к этой повести, возлагал на нее большие надежды, считая, что повесть «Опасный шаг» способна помочь молодым людям найти свою дорогу, уберечь их от многих неверных шагов и тяжелых, непоправимых ошибок... Однако позже и сам понял (и жизнь подсказала ему), что ждать и требовать от литературы таких подвигов не стоит — литература не учебное пособие. К тому же лучшие повести Николая Дворцова были еще впереди — такие, скажем, как «Двое в палате», «Святая простота, или Телега семейной жизни» и особенно я бы выделил «Два дня и три ночи»... но это мое личное восприятие.

Ранней весной 1967 года (еще по талому снегу) «телега жизни» Дворцова сделала крутой поворот — и Николай Григорьевич, сам того не чая, возглавил краевую писательскую организацию. Избрали его единогласно. Он был тронут, но внешне спокоен и предельно краток: «Спасибо за доверие. Будем работать вместе», — лапидарность дворцовская, Впрочем, другие слова в тот момент, наверное, и не требовались.

Между тем год 67-й и для меня выпал удачным. Этой же весной, ближе к маю, в Союз писателей были приняты разом (можно

сказать, в один присест строгой московской приемной комиссии) три алтайских прозаика — Георгий Егоров, Иван Кудинов и Виктор Попов. Разумеется, первым известил нас об этом и поздравил с отнюдь не будничным событием Николай Григорьевич — он рокотал в трубку низким неспешным голосом и, похоже, радовался доброму случаю больше самих именинников. «Еще бы не радоваться — сразу тройня родилась!» — острили наши молодые и амбициозные поэты, явно завидуя более опытным прозаикам, опередившим их на крутом вираже... А ну-тка, салаги, догоняйте стариков!

А потом «телега» моя сделала и еще один хо-ороший поворот. Осенью того же шестьдесят седьмого уехал я в Москву на Высшие литературные курсы — зачислялись туда исключительно только члены Союза писателей. Прекрасное то было время — молодость, надежды, витание в облаках... и работа, работа, работа — для этого были созданы все условия!..

Два года проскочило незаметно. А летом шестьдесят девятого, вернувшись на Алтай, обнаружил я, что Николай Григорьевич уже вторично избран секретарем писательской организации; он сам об этом при первой нашей встрече как бы мимоходом обронил: «Вот, мотаю уже второй срок, пока ты там в столицах отсиживался... — и разом заглушил нарочито жалобный тон, весело прогудев и пожав мне руку: — Ну, с прибытием! Не хотелось в Москве зацепиться? — на всякий случай поинтересовался, я только головой мотнул. Николай Григорьевич одобрительно тронул меня за плечо: — Правильно! Дома и стены помогают... Ну, а мы тут понемножку подрастаем, — сообщил, как-то незаметно перейдя на деловой лад, — писательская организация недавно пополнилась еще одним членом Союза...» — «Поэт?» — попытался я угадать. «Нет, опять прозаик, — улыбнулся Дворцов, — поэты чуть приотстали. Но настроены по-боевому. А в Союз принят бывалый рассказчик и краевед Пётр Антонович Бородкин...» — продолжал вводить меня в курс повседневной писательской жизни. Новостей накопилось изрядно, всего сразу и не припомнишь. Но самой большой для меня новостью оказалось то, что Дворцов, оставив где-то у черта на куличках свое старое жилище, поселился теперь в самом центре города, на проспекте Ленина, 49... «А ты не знал? Так это ж наискосок от мединститута, тут все под рукой,

удобно... — пояснил он, просветлев лицом, и как-то сразу, легко и живо пригласил: — Заходи в гости. Квартира двадцать первая. Можешь и телефон записать: пять, сорок семь, десять...» — все это, думается, выложил Николай Григорьевич не по простоте душевной, как могло показаться (простоком никогда он не был), скорее от широты душевной, а может, и того больше — от всей души...

Нет, не могу сказать, что был я частым гостем в этом доме, но в случае какой-то необходимости мог забежать и делал это запросто и с большим удовольствием. Тем более, что буквально год спустя после моего возвращения из Москвы мы с женой и маленьким сыном переселились в этот же район, жили на том же проспекте, почти рядом, в пяти минутах ходьбы...

Между тем Николай Григорьевич в тот период довольно серьезно и активно увлекся, как он сам говорил, «конкретикой», написал документальную повесть «Нужны энтузиасты» о недавно умершем знаменитом алтайском садоводе Лисавенко, публиковал очерки о сотрудниках научно-исследовательского института садоводства Сибири, основателем и руководителем которого был и оставался до конца жизни Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии, академик Михаил Афанасьевич Лисавенко. Дворцов хорошо знал его, не раз с ним встречался, разговаривал и, похоже, под его влиянием сам обратился в завязанного садовода. Ну, насчет «завязанного садовода», может, слишком сказано. Однако лицом, а точнее сказать, душой к природе Николай Григорьевич явно повернулся — и началом тому стало, как мне кажется, приобретение собственной дачи. Не могу точно сказать, в какую пору это случилось — то ли еще при жизни Лисавенко, то ли несколько позже, когда НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко возглавила ученица и преемница великого садовода Ида Павловна Калинина, изумительная женщина, умница и выдающийся специалист, как не раз и с каким-то особым восторгом превозносил ее Николай Григорьевич. И я однажды, посмеиваясь, сказал ему с шутливым уколком: «Вы о ней так говорите, будто по уши влюблены?» Он ответил спокойно, ничуть не смутившись: «А вот познакомишься с Идой Павловной да общаешься, поговоришь с ней по душам и сам поймешь — в такую женщину не влюбиться нельзя...»

Впрочем, Николай Григорьевич с таким же (а может, и с еще большим) восторгом отзывался и о своей даче, в которую действительно был влюблен. «Домик у нас маленький, — говорил он, — но там и без того простора хватает. Там, на свежем воздухе, как на парном молоке, и телом крепнешь, и душа отдыхает, и всякий сумбур из головы вылетает вон...»

Мне довелось не однажды бывать на этой дачке дворцовой. Помню, как впервые шел я узкими садовыми улками-переулками, держа в уме подсказку Николая Григорьевича («домик у нас маленький»), смотрел налево-направо и удивлялся сплошному однообразию: почти все домики казались один другого меньше, лишь изредка на общем фоне мелькали более или менее солидные строения — массовые же садоводческие застройки в то время строго лимитировались, так что никаких двухэтажек да еще и с резными балконами-лоджиями, а то и с банькой бревенчатой под боком (упаси бог!) не было тогда и в помине, не могло быть.

Но даже и в этом малорослом скопище жалких строений, будто сверху придавленных чьей-то невидимой и могучей рукой, домик Дворцова выглядел невысказанно тесным и крошечным. Открыв дверь входную, я ступил через порог и сразу же оказался в комнате, узенькой и единственной — тут тебе и прихожая, и гостиная, и кабинет, и спальня заодно... Справа от входа, изголовьем к торцевой стене, стоял низенький дощатый топчан, укрытый серым солдатским одеялом, а в противоположном углу того же торца ютился маленький столик, другой мебели я не заметил; а потом и вовсе перестал замечать — не это было главным.

Дышалось тут и вправду легко. Мы вышли из домика, и Николай Григорьевич приостановился, как будто к чему-то прислушиваясь, и тихо сказал: «Вот здесь, батенька, и живу я, роскошествую вместе с друзьями своими жданными и нежданными...» «Что это за друзья... жданные и нежданные?» — любопытствую. Он посмеивается: «Это я их так называю, крылатых своих друзей... Вон послушай, — приложив палец к губам, насторожил меня. — Молодые скворцы бормочут, переговариваются... Между прочим, скворцы не хуже попугаев умеют подражать человеческим голосам». «Да ну?! — искренне удивляюсь. — Никогда не слышал».

«О, брат, — подхватывает Николай Григорьевич, — скворцы, прямо скажу, народ деловой, работающий, время даром не тратят... не то, что воробьи — у тех вечный базар и шумиха-неразбериха. А вот длиннохвостые трясогузки другой коленкор, культура другая...» — говорит, усмехаясь, и такие подробности о желтых трясогузках выдает — диву даешься.

Нет, таким Дворцова я не знал, а этот Дворцов был для меня откровением. «Вот как природа может образовать и даже в корне изменить человека!» — думалось тогда, под впечатлением той изумительной нашей встречи.

Однако вскоре повернулось так, что эпизод этот дачный оказался лишь куцым и бледным предвестием событий гораздо более значимых. А началось все с телефонного звонка. Звонила Каролина Ивановна Саранча, редактор нашего издательства, и очень просила отрецензировать новую повесть Дворцова. Согласился я без всяких отговорок и колебаний — мне ж и самому интересно было еще в рукописи прочитать повесть Николая Григорьевича, о которой ничего он не говорил, — не принято об этом (суеверие писательское) раньше времени выбалтывать... В тот же день забежал я в издательство, и милейшая Каролина Ивановна из рук в руки передала мне аккуратно вложенный в целлофановый пакет машинописный экземпляр, титульный лист которого хорошо просматривался: «Николай Дворцов. Два дня и три ночи. Повесть». — «Хоп!» — вырвалось у меня. «Что-то не так?» — насторожилась Каролина Ивановна. «Нет, — говорю, — все так. Только вот название повести отсылает к известному роману Фёдора Абрамова «Две зимы и три лета». Вы не находите?» «Нахожу, — как-то неопределенно кивнула Каролина Ивановна. — Но я вас прошу: прочтите повесть — и если у вас останутся эти сомнения, тогда будем советоваться с автором...» — по тону ее ответа было похоже, что на этот счет она, как редактор, имеет свое особое мнение, которого из деликатности и профессионального долга не может и не станет навязывать мне. Все, как и полагается.

Повесть, можно сказать, проглотил я в тот же вечер — и буквально в один присест. Положил перед собой открытую рукопись и невольно улыбнулся, прочтя изначальную фразу: «Домик у меня в саду небольшой, но летом жильцов в нем собирается предоста-

точно, — как будто не повесть я начал читать, а услышал неторопливый и глуховато-низкий голос Дворцова, который и повлек меня за собой, попутно рассказывая: — Сверху, над коньком крыши, — скворцы в своем особняке на шесте, с боков, под застрехами, — воробьи, а в карнизе, над застекленной верандой, — трясогузки...» — говорил он, будто не роняя слова, а нанизывая их, как спелую землянику, на зеленые стебли лесной травы. Ах, какие чудные гирлянды! Казалось, так и пойдет дальше — тишь да гладь, да божья благодать, птичий перепев поутру, дачные труды и душевное равновесие... нет, нет, повесть не лишена этого лирического начала, напротив, пронизана им насквозь; но где-то в глубине вдруг возникает иное течение, более мощное и бурливое, другое начало — и слышен все тот же неторопливый и глуховато-низкий дворцовский голос: «Чайник укрыт для «нагрева» полотенцем. Горит, уютно шипя и потрескивая, лампа. Серая толстая бабочка, привлеченная светом, с глупой настойчивостью бьется снаружи в оконное стекло... — кажется, вздыхает, делая паузу, и продолжает: — Беру краюху бородинского хлеба — он успел порядочно зачерстветь, отрезаю ломоть и подношу ко рту. Тонкий запах, такой привычный, повседневный и, может быть, оттого зачастую совсем не ощущаемый, отбрасывает меня в прошлое, в просторы заволжских степей...» — и я, уже не в силах оторваться, оказываюсь в тех же заволжских степях, откуда и начинается нелегкий, подчас ухабистый и тяжкий путь героя (он же и автор) этой повести, которую, кажется, я и не читаю, а вместе с ними проживаю, шестьдесят три машинописных страницы на одном дыхании — повесть маленькая, но замешана круто.

Наутро, едва проснувшись, спешу за стол, чтобы по горячим следам написать свой отзыв-рецензию. И делаю это махом и с большим удовольствием — повесть, безоговорочно, мне понравилась, хотя при желании можно к чему-то придраться, найти «огрехи», но делать этого не хочется. Этим все и сказано: «Повесть Н. Дворцова «Два дня и три ночи» подкупает ясностью содержания, искренностью и неподдельной простотой, чего не хватает иным литературным произведениям. Повесть волнует. Читая ее, как-то невольно забываешь о том, что существует литература, чувствуешь одно: есть жизнь. Сложная, нелегкая

и вместе с тем прекрасная, если ты сумеешь сделать ее таковой. Повесть «Два дня и три ночи» — не исповедь, а скорее размышление. И написана она неторопливо, раздумчиво, автор время от времени как бы останавливается, дает себе возможность осмыслить пройденное. Дворцов намеренно ограничил «сферу действий» своего героя (тот приехал на два выходных дня в свой садик и занимается здесь будничным делом), чтобы показать, сколь глубока и неисчерпаема человеческая душа и сколько доброты, неистребимой силы таится в ней, в душе человеческой. Возможно, я несколько вольно толкую авторский замысел, но это и хорошо, если повесть заставляет по-своему думать и размышлять. Ведь каждый исходит из своего опыта. И еще думаешь, прочитав повесть: как часто в суетной повседневности мы забываем о главном — нам просто не хватает порой времени, возможно, как раз тех «двух дней и трех ночей», чтобы поразмыслить и соизмерить прошлое с настоящим, понять себя. Это — не парадокс. Мы не всегда понимаем себя. И не всегда думаем, умеем думать. И я еще раз подчеркиваю: именно думать, думать заставляет повесть «Два дня и три ночи».

Кстати, название повести не вызывало теперь у меня никаких сомнений — все на своем месте; более того, как мне казалось, без этих «двух дней и трех ночей» повесть во многом лишилась бы своей притягательной сути, а может, и главного стержня, на котором держится вся сюжетная канва... Примерно так пояснил я приятие заголовка, возвращая Каролине Ивановне рукопись Дворцова, подкрепленную более чем одобрительной своей рецензией. Каролина Ивановна улыбнулась и мягко сказала: «Очень рада, что наши мнения совпали».

Вот на столь высокой ноте мы и поставили точку. И вскоре эпизод этот как бы сам по себе отодвинулся, а потом и вовсе выпал из головы — другие дела, заботы нахлынули, жизнь не стоит на месте.

И вдруг — новый поворот! Звонит Николай Григорьевич, поговорили о том о сем, чувствую — заходит с другой стороны: «Знаешь, а я к тебе с просьбой. Ты не будешь возражать, если твою рецензию поставим предисловием к моей книге?» Просьба была неожиданной и я слегка растерялся: «Не пойму, как это можно сде-

ать?» «Очень просто, я ж говорю: поставим твою рецензию вместо предисловия... ну, не всю целиком, а ту часть, где говорится о повести», — отвечает. «Но эта рецензия не для печати, а всего лишь для внутреннего пользования, «закрытая», можно сказать», — пытаюсь отговориться. «А что нам мешает «открыть» ее и напечатать как предисловие? — стоит на своем Николай Григорьевич. — Тем более, что отзыв хорош, меня он тронул — и не потому, что хвалебный, а потому, что сделан по-настоящему хорошо, по-писательски, — добавил многозначительно. — Иначе не стал бы обращаться с такой просьбой. Кстати, и мысль о предисловии не я придумал, Каролина Ивановна подсказала... Как видишь, решение коллективное, — посмеивался в трубку, настроен он был хорошо. — Вот и тебе мой совет: не отрывайся от коллектива, — свел к шутке, но спросил вполне серьезно: — Ну, решили?»

А как иначе! Отношения наши в то время были такими, что не решить этого пустяка мы не могли. Правда, я попытался еще предложить некий компромиссный ход — мол, давайте, Николай Григорьевич, я специально напишу коротенькое предисловие, но он вдруг построжел и заупрямился: «Зачем? Пойми, мне интересен и важен первоисточник твоего отзыва, а специально ты напишешь, может, и лучше, но...»

Одним словом, все сделано было так, как и пожелал Николай Григорьевич. Книга его «Два дня и три ночи» открывалась моим коротеньким предисловием, лучше сказать, отрывком из моей «закрытой» рецензии, но, думаю, читателей эти деликатные мелочи вовсе не интересовали.

Вышла книга осенью 1971 года, где-то в конце октября. Заметим: скоропалительно книги в то время не делались, готовились издания (особенно новых произведений) тщательно и довольно длительно — так что к концу года наслоилось немало и других, не менее важных событий; и самое неожиданное из них заключалось в том, что мы с Николаем Григорьевичем поменялись «ролями». Знаю, Дворцову предлагали остаться на третий срок, но он решительно отказался да еще и пошутил: мол, нет-нет, дорогие друзья и недруги, на «сверхсрочную» я не иду. А на отчетно-выборном собрании весной того же семьдесят первого года избрали меня ответсекретарем краевой писательской организации — так

случилось. И Николай Григорьевич первым поздравил меня, крепко тряхнув ладонь, будто из руки в руку передал эстафету.

Скажу одно: перемены эти никак не поколебали наших добрых отношений — ни в ту, ни в другую сторону — все оставалось, как и прежде, а может, чуточку даже и потеплело.

И Панна Ивановна, жена Дворцова (давняя «хозяйка», хранительница нашей организации — бухгалтер, секретарша, кассир и советник по многим вопросам), осталась на своем месте — все пять лет моего секретарства мы с ней проработали душа в душу; и Николай Григорьевич, оставив секретарство, не замкнулся и не ушел в себя, как говорится, нередко заглядывал на Ленина, 8, где в старом казенном здании несколько лет квартировали писатели. Особенно прижились и полюбились затейные нами еженедельные литературные «вторники», гостями которых были такие замечательные люди, как известный хирург профессор (создатель краевого хирургического общества) Израиль Исаевич Неймарк, знаменитый в то время алтайский председатель колхоза, Герой Социалистического Труда Илья Яковлевич Шумаков, главный садовод Сибири и нашего края, доктор наук, умнейшая и чудеснейшая Ида Павловна Калинина, в которую, по словам Дворцова, «не влюбиться нельзя»... Встречи с такими людьми были всегда волнующе интересны, полезны, но главное все-таки содержалось в другом: здесь, на литературных «вторниках» (как и на других писательских собраниях, совещаниях и прочих «посиделках»), наши прозаики и поэты могли, что называется, отвести душу — почитать новые стихи, рассказы, поспорить, поговорить, поискать истину...

И так уж повелось, почти все наши собрания-совещания либо начинались, либо завершались выступлениями Володи Сергеева — все зависело от настроения Владимира Андреевича, человека непредсказуемого, дотошного, но порядочного, умного, а по большому счету — добрейшего. Чаще всего выступления его оказывались не по шерсти, как говорится, а против шерсти. Встает Володя и неспешным хрипловато-тихим голосом начинает шерстить всех бывших и нынешних литначальников — и поделом иногда...

Однако на том памятном «вторнике», который не только запомнился, но и остался в душе, Владимир Андреевич настроен

был благодушно и говорил не о наших вечных просчетах и недочетах, а всего лишь о характере писателя, который так или иначе отражается на творческом процессе. «Вот представьте, — говорил Владимир Андреевич тихим проникновенным голосом, — театр начинается с вешалки. А писатель?» Кто-то из сидящих рядом подсказывает: «А писатель с гонорара». Но Сергеев пропускает это мимо ушей и продолжает свое: «А писатель начинается с письменного стола... Достаточно взглянуть на письменный стол того или иного писателя — и характер как на ладони. Вот, например, на столе Николая Григорьевича Дворцова всегда лежит словарь Ожегова или Ушакова, а стол Льва Квина завален альбомами и журналами по филателии, у Егорова на самом видном месте хранится измятая бронебойная пуля, с войны...» «А что у тебя на столе, Владимир Андреевич?» — поинтересовался Гена Панов. Сергеев улыбнулся снисходительно и, чуть помедлив, сказал: «Портрет Льва Толстого». Сидевший все это время молча Дворцов разом воспрянул и подал голос: «Володя, а новая рукопись не лежит у тебя на столе? — и, не ожидая ответа, как бы подвел черту: — Вот с этого и начинается писатель...»

Могу твердо сказать: сам же Николай Григорьевич в те годы (семидесятые) работал много и плодотворно — и книги его издавались, в сущности, ежегодно. Убедит вас в этом элементарный список, и я охотно его привожу: 1971 — как уже говорилось, книга «Два дня и три ночи»; 1972 — однотомник «Море бьется о скалы» (роман и повесть «Двое в палате»); 1974 — книга повестей и рассказов «Дважды жить не дано»; 1975 — «Друзья жданные и неожиданные» (Дворцов не был ни рыбаком, ни охотником, но природу любил, а птиц и вовсе боготворил, о них и написал книгу); 1976 — «Августовские ночи» (еще один поклон природе, хотя наряду с этим и глубокие, психологически выверенные рассказы и очерки вошли в сборник); и, наконец, 1977 год, юбилейный однотомник, довольно объемистый, более семисот страниц, под знаковым названием «Река времен» — Дворцову в том году исполнилось шестьдесят, пора строгой зрелости и подведения предварительных итогов. Так и воспринималась эта книга. Да и сам Николай Григорьевич не давал повода иначе думать, выглядел он вполне крепким, бодрым и, казалось, еще на многое

способным. Тогда и в голову не могло придти, что солидный од- нотомник «Река времен» — издание не только юбилейное, но, увы, и последнее прижизненное, хотя впереди было еще почти восемь лет... Но, как ни прискорбно, здесь и обрывалась творческая сте- зя Николая Дворцова.

И если за предыдущие семь лет издал он шесть книг, за этот последний восьмилетний период не вышло у него ни одной строки. Ни единой! Может, в этом была и моя вина? — возник- ли сомнения, я ж видел все воочию. И слишком хорошо помню, как наши добрые многолетние отношения (казалось, ничто и ни- когда их не порушит!) вдруг на глазах у всей писательской орга- низации дали трещину, рухнули и сошли на нет, можно сказать, в одночасье. Многие нам сочувствовали, сожалея о случившем- ся, а кто-то, вполне возможно, втихую злорадствовал и всячески разжигал конфликт — не без того. Можно было бы и умолчать, не говорить об этом. Но то, что было, то было — из песни слова не выкинешь... А случилось вот что. Николай Григорьевич на- писал очерк об интереснейшем человеке, полном кавалере орде- нов Славы, Герое Социалистического Труда, первом секретаре Шипуновского райкома партии Василии Тимофеевиче Христен- ко и отдал мне из рук в руки: «Посмотри, может, напечатаете», я в то время был главным редактором альманаха «Алтай» — и публицистика, надо сказать, привечалась у нас особо. А тут и тема значительная, и герой — каких поискать. Однако очерк из- рядно был растянут, иные места слабо прописаны, «недопроявле- ны», будто сделаны наспех. Об этом я и сказал Дворцову, ничего не смягчая. Николай Григорьевич согласился: да, да, я и сам это чувствую, очерк не выношен как следует — и в правке нуждается. Договорились, что я его выправлю, со стороны всегда виднее, а правку покажу. «Да, да, — подтвердил он и как бы еще раз на- помнил, — правку ты мне обязательно покажи». Но не получи- лось. Очерк я выправил, а правку показать не сумел. Позвонил Николаю Григорьевичу — дома его не оказалось. Спросил Пан- ну Ивановну, когда он будет, она, помолчав, печально вздохну- ла: «Если бы я знала, — и открылась чуть погода: — Пятый день уже нет дома». «Пять дней?! — испугался я. — Так его ж искать надо...» «Не надо, — тихо и как-то покорно сказала Панна Ива-

новна, — придет сам... У кого-то из дружков-художников в мастерской отсыпается...»

На всякий случай съездил я и на дачу, но там встретили меня только стрижи, скворцы и трясогузки, «друзья жданные и нежданные», хозяина не было и в помине, исчез Николай Григорьевич на несколько дней — такое случалось с ним в те годы... А время не ждало. Мне через три дня надо быть в Москве, звонили из «Современника», оттуда махну в Елабугу, в шишкинские леса... Так что до отъезда надо было сдать очередной номер «Алтая». А что делать с дворцовским очерком? И я, махнув рукой, заслал рукопись — так хотелось, чтобы очерк «Суть» прошел именно в этом номере. Заслал и вскоре уехал. Так и пошло. Не помню, по какой причине (может, и по моей вине), но и корректуру Николай Григорьевич тоже не вычитал.

А когда альманах вышел — дело было сделано. И Николай Григорьевич, увидев свой очерк, возмутился — правка была значительной. И на первом же писательском собрании обрушился на меня, обвиняя во всех смертных грехах, что было вовсе не похоже на Дворцова: и что, де, я «топчу рукописи, не считаясь с авторами», и что вообще я зазнался в последнее время... Смотрю на него — и не узнаю. И мне даже показалось, что кто-то его подзуживал и науськивал на меня... Но что я мог сказать? Поделом! Я чувствовал свою вину. Надо было все-таки разыскать Дворцова, во всяком случае не ставить очерк в номер, так или иначе предупредив автора. Одним словом, вину, скрепя сердце, я взял на себя. И, думаю, правильно сделал! Это как-то смягчило конфликт. Наверное, и сам «конфликт» был бы вскоре исчерпан, сглажен и наши прекрасные отношения с Дворцовым (какими были они всегда) остались бы неразрушенными. Но тут вмешался еще один случай — и все пошло насмарку. Вскоре вышла новая книга Николая Григорьевича (кажется, то были «Августовские ночи»), в которую он включил и этот злополучный очерк. И не просто включил, а включил именно журнальный вариант, со всеми моими правками. И я при первом же случае спросил Дворцова: «Николай Григорьевич, скажите, пожалуйста, если я «топчу рукописи», как вы утверждали, зачем же «растоптанную» рукопись, а не свой первый вариант, включили в книгу?»

И пошла губерния писать! Сгоряча наговорили друг другу с три короба. Так вот и пробежала между нами черная кошка. Обида не затаилась даже, а нарастала, как снежный ком, пущенный с горы, и овладела нами надолго. Мы избегали встреч, перестали здороваться, старались не замечать друг друга... Наверное, это было смешно, но скорее печально.

Шло время. А время иногда лечит человеческие недуги. Наверное, лечит... Так мне кажется.

Вхожу однажды в троллейбус и лицом к лицу сталкиваюсь с Дворцовым. Оба слегка опешили, растерялись — так давно не сходились один на один. Смотрю на него — и не вижу в его глазах какой-либо ненависти, обиды и злобы, думаю, и он в моих глазах ничего подобного не увидел. Минутное замешательство — и вдруг как будто что-то обоих толкнуло нас и сблизило снова, подали мы и пожали друг другу руки, Дворцов показался мне похudevшим, усталым и постаревшим. Я не знал еще тогда, что он уже был серьезно болен... «Ну, как живете, Николай Григорьевич? — спросил я. — Давно мы с вами не виделись, не разговаривали...» Он согласился: «Давно. А живу... как живу? — помедлив, сказал. — Двигаюсь вот потихоньку... к финишу. Чего уж теперь ждать...» Кажется, я сказал, что рано еще, что к финишу, в конце концов, мы все движемся...

Доехали до конечной остановки — тоже ведь «финиш», пожали друг другу руки и разошлись. Николай Григорьевич отправился на Старый базар, а я в архив на Большую Олонскую, в гости к Петру Антоновичу Бородину. Оглянулись одновременно и помахали руками — и не только попрощались, но и простили друг другу все свои архиглупости, сняв камень с души. И легко стало.

Легко, как и сегодня, после всего сказанного о Николае Григорьевиче Дворцове, которого любил я как писателя, как человека, как старшего брата, — и это чувство братской любви осталось во мне навсегда.

К 80-летию поэта Игоря Пантюхова

18 декабря 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения известного русского поэта Игоря Михайловича Пантюхова (18.12.1937–31.03.2009). Это человек и поэт с широкой морской душой. Его творчество наполнено светлой лирикой и поражает меткостью мысли и точностью фразы. А еще твердой жизненной позицией, любовью к Родине и верой в мощь и достоинство человека.

Родился Игорь Пантюхов на Кавказе, в городе Орджоникидзе в семье пламенного революционера и отважного моряка.

После окончания Барнаульского строительного техникума работал в тресте «Стройгаз», в многотиражной газете «Строитель». Первые стихи были опубликованы в краевой газете «Молодежь Алтая» в 1955 году. А первая поэтическая книга, молодого поэта, грезлившего морем, — «Юность в бушлате» — вышла в свет в 1963 году в городе Калининграде, когда Игорь Пантюхов проходил срочную службу на подшефном алтайскому комсомолу крейсере «Свердлов».

Игорь Михайлович Пантюхов стал членом Союза писателей СССР в 1964 году. Он окончил Литературный институт им. А. М. Горького и Высшие литературные курсы Союза писателей СССР в Москве. Он автор 13 поэтических книг, изданных при жизни.

Долгие годы работал главным редактором журнала «Алтай». В разные годы избирался ответственным секретарем Калининградской областной и Алтайской краевой писательских организаций.

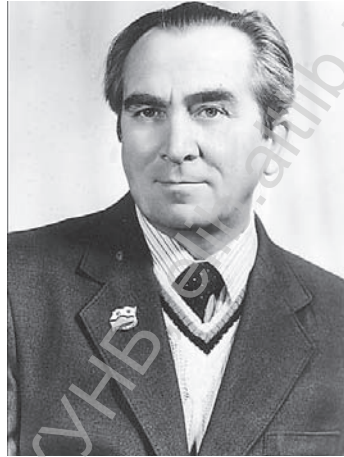
Игорь Михайлович Пантюхов награжден медалями «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина удостоен нагрудного знака ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС «Наставник молодежи». Является лауреатом премии Ленинского комсомола Алтая (1984), литературных премий им. В. М. Шукшина (1994, 2006), премии им. Л. С. Мерзликина за сборник стихов «Простите» (2000).

Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1988).

С 2009 года на Алтае проходят краевые литературные чтения, посвященные памяти поэта.

Владимир Коржов

Игорь Пантюхов



Первый шторм

Бил валом чёрным,
Бил белым снегом,
Он звался Штормом,
Я — Человеком.

Он кошкой тёрся,
Он бил накатом.
И мок, и мёрз я,
Но глаз не прятал.

В той круговерти
Волною каждой
Он — жаждал смерти,
Я — жизни жаждал.

Седой, угрюмый
Он бил всё ниже...
Он — сник и умер,
Я — встал и выжил.

Устал я очень,
Но в новой встрече
Он будет — кротче,
Я буду — крепче.

Письмо на берег

Сегодня вы, наверно, в сборе,
Но если тост произнесли —
Не пей, старик, за тех, кто в море, —
Не отрывай нас от земли.
Мы знаем ей такую цену,
Которой прочим не познать:
У нас два слова сокровенных
На флоте есть —
Земля и Мать.
Мать — та, что к качке приучала,
Ночами не смыкая глаз.
Земля — нас берегом встречала,
Оберегала в море нас.
Не верь в понятия прописные,
Что дом у нас на корабле, —
Неправда!
В море мы — земные,
Морские — только на земле.
Да, мы придём домой не вскоре,
Отвыкнем от земной тиши,
И всё ж — не пей
За тех, кто в море, —
Размежеваться не спеши!
Я знаю,
Этот тост в почёте,
И не списать его в утиль,
Но мы...
Мы просто на работе,
А до неё
Пять тысяч миль.

И в случаях необходимых,
Словами не пыля до звёзд,
Мы непременно — за любимых
Провозглашаем третий тост.
И вот сейчас,
Расставив сети,
Собрались за столом как раз
И поднимаем просто Третий...
Пусть на земле поддержат нас!

Давай я тебя нарисую
Без брошек, серёжек, колье,
Без белых сапожек — босую,
Берущую воду в ручье.
Давай я тебя изваяю
Без шляпок и модных пальто —
Такою, какую я знаю,
И больше не знает никто,
Какую встаёшь спозаранку,
Покинувши руку мою.
Давай я тебя, хулиганку,
В хороших стихах воспою?
Давай!..
Я берусь и — немею,
О чём-то неясном скорбя...
Я всё это сделать сумею,
Когда потеряю тебя.

Я большими глотками
пью белую ночь
и пьянею, грустя об одном:
как мне тысячи вёрст
до тебя превозмочь

с этим необычайным вином?
Чтобы выпила ты,
чтоб придумала ты,
как порвать заколдованный круг,
чтоб сошлись,
как сейчас над Невою мосты,
окончания наших разлук.
Всё пьяней и прозрачней белая ночь,
всё сильнее она хлещет в окно...
Приходи,
помоги
мне впервые невмочь
одному пить такое вино...

Моряна

Может, рано юность,
Братъ с тобой развод,
Может быть, и память
Будоражить рано?
Может, перетерпится,
Может, заживёт,
В море от меня
Уйдёт моя моряна?
Думал — позабуду.
Врылся в толщи книг, —
Вроде, помогает,
Вроде полегчало...
Но мелькнул в трамвае синий воротник —
И опять шальное,
Память раскачало.
Думал — поостыну,
В глубь кедровых гор
Я ушёл с отрядом
Комариным летом,
Остывал...
Но каждый крошечный костёр

Звал меня к тебе
Своим маячным светом.
Думал — растеряю я своих «годков»
И исчезнет море,
Как исчезло детство.
Но от встреч,
От писем,
От ночных звонков —
Некуда мне скрыться,
Некуда мне деться...
Отслужил тебе я
Честно как матрос.
Отслужил...
Да видно,
Точку не поставил.
То ли слишком много
Я тебя унёс,
То ли слишком много
Я себя оставил...

Тамара Ласкова (р. 1947).



Портрет искусствоведа. 1977.

Холст, масло. 84x96. Собственность ГХМАК

